Константин Симонов

ТРЕТИЙ АДЪЮТАНТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"





КОНСТАНТИН
СИМОНОВ

Третий адъютант

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» МОСКВА 1968

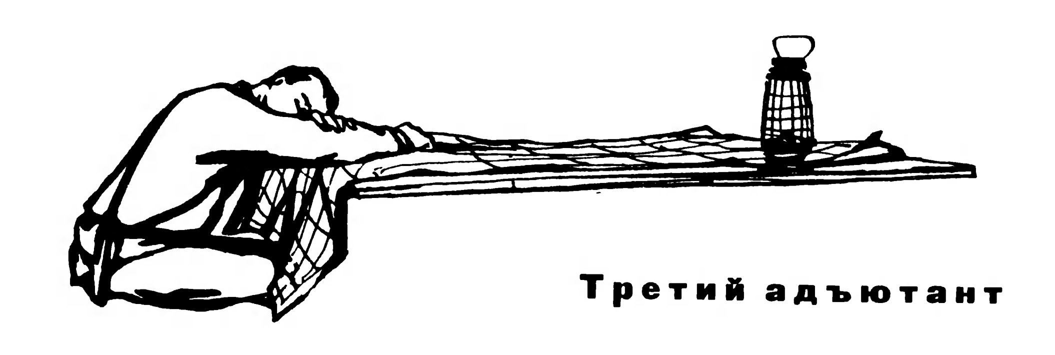
Р 2
С 37

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Рисунки
Ю. Теребилова

7—6—3



Третий адъютант

Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Если приходилось идти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним.

Если тот выдерживал испытание, вечером комиссар знакомился с ним еще раз.

— Как фамилия? — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.

Удивленный командир называл свою фамилию.

— А моя — Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.

В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убили двух адъютантов.

Первый струсил и вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.

Вечером, возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы.

Второй адъютант был ранен навылет в грудь во время атаки. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди за бруствером лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.

Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная.



Потом тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.

Неизвестно почему, немцы не стреляли. Они начали стрелять, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав под мышкой, по-

вернулся. Ему стреляли в спину. Две пули попали в флягу. Он зажал дырки пальцами и пошел дальше, неся флягу в вытянутых руках.

Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.

— Напоите!

— А вдруг дошли бы, а она пустая? — заинтересованно спросил кто-то.

— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную! — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.

Он часто делал вещи, которые, в сущности, ему, комиссару дивизии, делать было не нужно. Но вспоминал о том, что это не нужно, только потом, уже сделав. Тогда он сердился на себя и на тех, кто напоминал ему о его поступке. Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.

Через пятнадцать минут он неожиданно окликнул командира батальона:

— Ну, отправили в санбат?

— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать дотемна.

— Дотемна он умрет.— И комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.

Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.

А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя и для других. Люди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.

Красноармейцы шли смело, не падали, не бросались на землю. Они не забывали, что несут раненого. И именно поэтому Корнев верил, что они дойдут.

Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.

— Ну как, поправляется, вылечили? — спросил он хирурга.

Корневу казалось, что на войне все можно и должно делать одинаково быстро — доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.

И когда хирург сказал Корневу, что адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.

— Вы понимаете, что вы говорите? — тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и привлекая к себе.— Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер. Зачем же они его несли?

Про то, как он ходил под огнем за водой, Корнев промолчал.

Хирург пожал плечами.

— И потом,— заметив это движение, добавил комиссар,— он был такой парень, что должен был выжить. Да, да, должен,— сердито повторил он.— Плохо работаете.

И, не простившись, пошел к машине.

Хирург смотрел ему вслед. Конечно, комиссар был неправ. Логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки были в его словах такая сила и убежденность, что хирургу на минуту показалось, что, действительно, смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это значит, он плохо работает.

— Ерунда! — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.

Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.

— Михаил Львович,— вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему помощнику, вышедшему на крыльцо покурить.— Надо будет утром вынести дальше вперед еще два перевязочных пункта с врачами...

Комиссар добрался до штаба только к рассвету. Он был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. В этом был свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди уходили от него сердитыми. Он считал, что человек все может. И никогда не ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал много, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, они лучше думают. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно только главное. Именно таким образом он добивался того, что в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.

Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за

эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет несчастьем или случайностью. А пока — смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И все-таки ему было грустно, и он как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.

Третий адъютант был маленький, светловолосый и голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.

Когда в первый же день знакомства ему пришлось идти рядом с комиссаром вперед, в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не оставлял комиссара. Он шел рядом: таков был долг адъютанта. Кроме того, этот большой грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым: если идти рядом с ним, то ничего не может случиться.

Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.

Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.

— Вперед, вперед,— говорил он ворчливо.— Нечего нам тут дожидаться.

Почти у самых окопов их накрыла вилка. Одна мина разорвалась впереди, другая — сзади.

Комиссар встал, отряхиваясь.

— Вот видите,— сказал он, на ходу показывая на маленькую воронку сзади.— Если бы мы с вами трусили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрей вперед идти.

— Ну, а если бы мы еще быстрей шли, так...— И адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.

— Ничего подобного,— сказал комиссар.— Они же по нас сюда били — это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целились и опять был бы недолет.

Адъютант невольно улыбнулся: комиссар, конечно, шутил. Но лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вера в этого человека, вера, возникающая на войне мгновенно и остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром, совсем тесно, локоть к локтю.

Так состоялось их первое знакомство.

Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то становились вязкими и непроходимыми. Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.

Была темная осенняя южная ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал на железной печке поближе к огню свои забрызганные грязью сапоги.

Сегодня утром был тяжело ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие; пальцы снова начинали его слушаться.

— Ну хорошо, упрямый вы человек,— продолжал он прерванный разговор,— ну, пусть Холодилина убили потому, что он боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком — как по-вашему?

— Не был, а есть. И он выживет,— сказал комиссар и отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.

Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:

— Ну, выживет, хорошо — едва ли, но хорошо. Но ведь Миронов не выживет, и Заводчиков не выживет, и Гавриленко не выживет. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?

— У меня нет теории,— резко сказал комиссар.— Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароют, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией, воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться,— хорошая теория.

В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда только что вернулся, все в порядке, только ранен командир батальона капитан Поляков.

— Кто вместо него? — спросил комиссар.

— Лейтенант Васильев из пятой роты.

— А кто же в пятой роте?

— Какой-то сержант.

Комиссар на минуту задумался.

— Сильно замерзли? — спросил он адъютанта.

— По правде говоря — сильно.

— Выпейте водки.

Комиссар налил из чайника полстакана водки, и лейтенант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.

— А теперь поезжайте обратно,— сказал комиссар.— Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте!

Адъютант встал. Он застегнул крючок шинели медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.

— Хороший парень,— сказал комиссар, проводив его глазами.— Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят, что меня пуля не возьмет. А это самое главное. Верно, полковник?

Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый от природы человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.

— Да,— сказал он.

В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю начерченную на ней землю.

Утром комиссар сам выехал на полуостров. Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовую пятую роту — всю, до последнего человека.

Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку.

Тронутый первыми заморозками гремучий песок был взрыт воронками и залит кровью. Немцы были убиты или взяты в плен. Пытавшиеся добраться до своего берега вплавь потонули в ледяной зимней воде.

Отдав уже ненужную винтовку с окровавленным черным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Но мертвые тоже умеют гово-

рить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы пятой роты. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал, валялись на открытом поле в мерзлой зимней степи: они бежали и здесь их настигли пули. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица: он угадывал, как боец вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не мирила его с трусостью. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти, как и при жизни, между ними будет черта.

Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен, он должен был быть где-то здесь, среди погибших.

Наконец, сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди на гимнастерке запеклась кровь.

Комиссар долго стоял над ним, потом, подозвав одного из командиров, приказал ему приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана.

Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех намотанные бинты. Его сердили не столько рана и боль, сколько самый факт, что он был ранен. Он, которого считали в дивизии неуязвимым! Рана была некстати, ее скорее надо было залечить и забыть.

Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.

— Штыковая,— сказал он, подняв голову, и снова склонился над адъютантом и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу.

Когда он поднялся, на лице его было удивление.

— Еще дышит,— сказал он.

— Дышит?

Комиссар ничем не выдал своего волнения

— Двое, сюда! — резко приказал он.— На руки и быстро до перевязочного пункта. Может быть, выживет.

И он, повернувшись, пошел дальше по полю.

«Выживет или нет?» — этот вопрос у него путался с другими: как себя вел в бою, почему оказался сзади всех, в поле? И невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро — значит, выживет, непременно выживет.

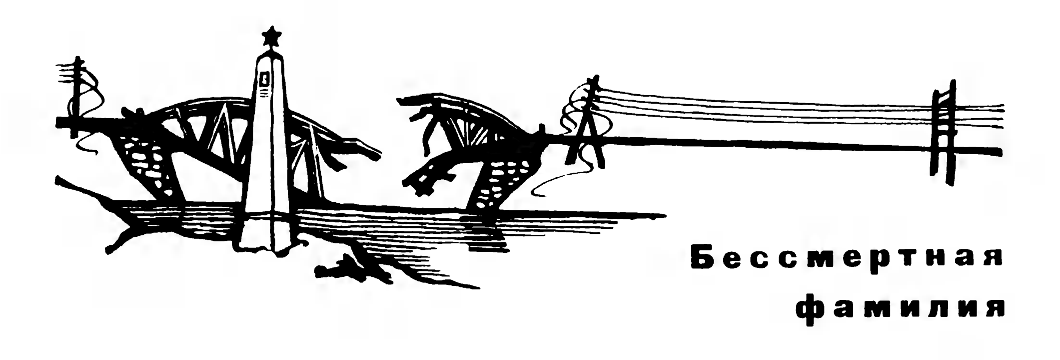
И когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый и голубоглазый, похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил у него, а только молча протянул для пожатия левую, здоровую руку.

— А я ведь так тогда и не дошел до пятой роты,— сказал адъютант,— застрял на переправе, еще сто шагов оставалось, когда...

— Знаю,— прервал его комиссар,— все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили.

Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и кивнув на свою перевязанную руку, грустно сказал:

— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц не заживает. А у него — третий. Так и правим дивизией — двумя руками. Он правой, а я левой...



Бессмертная фамилия

Прошлой осенью, еще на Десне, когда мы ехали вдоль левого берега ее, у нашего «виллиса» спустил скат, и, пока шофер накачивал его, нам пришлось с полчаса, поджидая, лежать почти на самом берегу. Как это обычно бывает, колесо спустило на самом неудачном месте — мы застряли около наводившегося через реку временного моста.

За те полчаса, что мы там просидели, немецкие самолеты дважды появлялись по три-четыре штуки и бросали мелкие бомбы вокруг переправы. В первый раз бомбежка прошла заурядно, то есть как всегда, и саперы, работавшие на переправе, прилегли кто где и переждали бомбежку лежа. Но во второй раз, когда последний из немецких самолетов, оставшись один, продолжал, назойливо жужжа, бесконечно крутиться над рекой, маленький чернявый майор-сапер, командовавший постройкой, вскочил и начал ожесточенно ругаться.

— Так они и будут крутиться весь день,— кричал он,— а вы так и будете лежать, а мост так и будет стоять! После войны мы тут железнодорожный построим. По местам!

Саперы один за другим поднялись и, с оглядкой на небо, продолжали свою работу.

Немец еще долго кружился в воздухе, потом, увидев, что одно его жужжание перестало действовать, сбросил две последние, оставшиеся у него мелкие бомбы и ушел.

— Вот и ушел,— громко радовался майор, приплясывая на краю моста, так близко от воды, что казалось, он вот-вот упадет в нее.

Я, наверное, забыл бы навсегда об этом маленьком эпизоде, но некоторые обстоятельства впоследствии мне напомнили о нем. Поздней

осенью я снова был на фронте, примерно на том же направлении, сначала на Днепре, а потом за Днепром. Мне пришлось догонять далеко ушедшую вперед армию. На дороге мне бросалась в глаза одна постоянно, то здесь, то там, повторявшаяся фамилия, которая, казалось, была непременной спутницей дороги. То она была написана на куске фанеры, прибитом к телеграфному столбу, то на стене хаты, то мелом на броне подбитого немецкого танка: «Мин нет. Артемьев», или: «Дорога разведана. Артемьев», или: «Объезжать влево. Артемьев», или: «Мост наведен. Артемьев», или, наконец, просто «Артемьев» и стрелка, указывающая вперед.

Судя по содержанию надписей, нетрудно было догадаться, что это фамилия какого-то из саперных начальников, шедшего здесь вместе с передовыми частями и расчищавшего дорогу для армии. Но на этот раз надписи были особенно часты, подробны и, что главное, всегда соответствовали действительности.

Проехав добрых двести километров, сопровождаемый этими надписями, я на двадцатой или тридцатой из них вспомнил того чернявого маленького майора, который командовал под бомбами постройкой моста на Десне, и мне вдруг показалось, что, может быть, как раз он и есть этот таинственный Артемьев, в качестве саперного ангела-хранителя идущий впереди войск.

Зимой на берегу Буга, в распутицу, мы заночевали в деревне, где разместился полевой госпиталь. Вечером, собравшись у огонька вместе с врачами, мы сидели и пили чай. Не помню уж почему, я заговорил об этих надписях.

— Да, да,— сказал начальник госпиталя.— Чуть ли не полтысячи километров идем по этим надписям. Знаменитая фамилия. Настолько знаменитая, что даже некоторых женщин с ума сводит. Ну, ну, не сердитесь, Вера Николаевна, я же шучу!

Начальник госпиталя повернулся к молодой женщине-врачу, сделавшей сердитый протестующий жест.

— А тут не над чем шутить,— сказала она и обратилась ко мне:— Вы ведь дальше вперед поедете?

— Да.

— Они вот смеются над моим, как они говорят, суеверным предчувствием, но я ведь тоже Артемьева, и мне кажется, что эти надписи на дорогах оставляет мой брат.

— Брат?

— Да. Я потеряла его след с начала войны, мы с ним расстались еще в Минске. Он до войны был инженером-дорожником, и вот мне все почему-то кажется, что это как раз он. Больше того, я верю в это.

— Верит,— прервал ее начальник госпиталя,— да еще сердится, что тот, кто оставлял эти надписи, к своей фамилии не прибавил инициалов.

— Да,— просто согласилась Вера Николаевна,— очень обидно. Если бы еще была надпись «А. Н. Артемьев» — Александр Николаевич, я была бы совсем уверена...

— Даже знаете что сделала? — снова перебил начальник госпиталя.— Она один раз к такой надписи приписала внизу: «Какой Артемьев? Не Александр Николаевич? Его ищет его сестра Артемьева, полевая почта ноль три девяносто «Б».

— Правда, так и написали? — спросил я.

— Так и написала. Только надо мной все смеялись и уверяли, что кто-кто, а саперы редко идут назад по своим же собственным отметкам. Это правда, но я все-таки написала... Вы, когда поедете вперед,— продолжала она,— в дивизиях на всякий случай спросите, вдруг наткнетесь. А вот тут я вам напишу номер нашей полевой почты. Если узнаете, сделайте одолжение, напишите мне две строчки. Хорошо?

— Хорошо.

Она оторвала кусочек газеты и, написав на нем свой почтовый адрес, протянула мне. Пока я прятал в карман гимнастерки этот клочок бумаги, она провожала его взглядом, как бы стараясь заглянуть в карман и проследить, чтобы этот адрес был там и не исчез.

Наступление продолжалось. За Днепром и на Днестре я все еще встречал фамилию «Артемьев»: «Дорога разведана. Артемьев», «Переправа наведена. Артемьев», «Мины обезврежены. Артемьев». И снова просто «Артемьев» и стрелка, указывающая вперед.

Весной в Бессарабии я попал в одну из наших стрелковых дивизий, где в ответ на вопрос о заинтересовавшей меня фамилии я вдруг услышал от генерала неожиданные слова:

— Ну, как же, это же мой командир саперного батальона — майор Артемьев. Замечательный сапер. А что вы спрашиваете? Наверное, фамилия часто попадалась?

— Да, очень часто.

— Ну еще бы. Не только для дивизии, для корпуса — для армии дорогу разведывает. Весь путь впереди идет. По всей армии знаменитая

фамилия, хотя и мало кто его в глаза видел, потому что идет всегда впереди. Знаменитая, можно сказать даже — бессмертная фамилия.

Я снова вспомнил о переправе через Десну, о маленьком чернявом майоре и сказал генералу, что хотел бы увидать Артемьева.

— А это уж подождите. Если какая-нибудь временная остановка у нас будет — тогда. Сейчас вы его не увидите — где-то впереди с разведывательными частями.

— Кстати, товарищ генерал, как его зовут? — спросил я.

— Зовут? Александр Николаевич зовут. А что?

Я рассказал генералу о встрече в госпитале.

— Да, да,— подтвердил он,— из запаса. Хотя сейчас такой вояка, будто сто лет в армии служит. Наверное, он самый.

Ночью, порывшись в кармане гимнастерки, я нашел обрывок газеты с почтовым адресом госпиталя и написал врачу Артемьевой несколько слов о том, что предчувствие ее подтверждается, скоро тысяча километров, как она идет по следам своего брата.

Через неделю мне пришлось пожалеть об этом письме.

Это было на той стороне Прута. Мост еще не был наведен, но два исправных парома, работавшие как хороший часовой механизм, монотонно и беспрерывно двигались от одного берега к другому. Еще подъезжая к левому берегу Прута, я на щите разбитого немецкого самоходного орудия увидел знакомую надпись: «Переправа есть. Артемьев».

Я пересек Прут на медленном пароме и, выйдя на берег, огляделся, невольно ища глазами все ту же знакомую надпись. В двадцати шагах, на самом обрыве, я увидел маленький свеженасыпанный холмик с заботливо сделанной деревянной пирамидкой, где наверху, под жестяной звездой, была прибита квадратная дощечка.

«Здесь похоронен,— было написано на ней,— павший славной смертью сапера при переправе через реку Прут майор А. Н. Артемьев». И внизу приписано крупными красными буквами: «Вперед, на запад!».

На пирамидке под квадратным стеклом была вставлена фотография. Я вгляделся в нее. Снимок был старый, с обтрепанными краями, наверное долго лежавший в кармане гимнастерки, но разобрать все же было можно: это был тот самый маленький майор, которого я видел в прошлом году на переправе через Десну.

Я долго простоял у памятника. Разные чувства волновали меня. Мне было жаль сестру, потерявшую своего брата, не успев еще, быть может, получить письмо о том, что она нашла его. И потом еще какое-то чув-

ство одиночества охватывало меня. Казалось, что-то не так будет дальше на дорогах без этой привычной надписи «Артемьев», что исчез мой неизвестный благородный спутник, охранявший меня всю дорогу. Но что делать... На войне волей-неволей приходится привыкать к смерти.

Мы подождали, пока с парома выгрузили наши машины, и поехали дальше. Через пятнадцать километров, там, где по обеим сторонам дороги спускались глубокие овраги, мы увидели на обочине целую груду наваленных друг на друга, похожих на огромные лепешки немецких противотанковых мин, а на одиноком телеграфном столбе фанерную дощечку с надписью: «Дорога разведана. Артемьев».

В этом, конечно, не было чуда. Как и многие части, в которых долго не менялся командир, саперный батальон привык называть себя батальоном Артемьева, и его люди чтили память погибшего командира, продолжая открывать дорогу армии и надписывать его фамилию там, где они прошли. И когда я вслед за этой надписью еще через десять, еще через тридцать, еще через семьдесят километров снова встречал все ту же бессмертную фамилию, мне казалось, что когда-нибудь, в недалеком будущем, на переправах через Неман, через Одер, через Шпрее я снова встречу фанерную дощечку с надписью: «Дорога разведана. Артемьев».



Малышка

На Кубани стояли дождливые осенние дни. Дороги, по которым проехало неисчислимое количество колес, стали почти непроходимыми: машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала, шли бои, но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл то на одну, то на другую дорогу, и обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откочевывая все глубже и глубже на юг.

В пять часов вечера на передовых, у разбитого снарядом сарая, остановилась старенькая санитарная летучка — дребезжащая, расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки вылезла ее хозяйка — военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли Малышкой, потому что она и в самом деле была настоящая малышка — семнадцатилетняя курносая девчонка с тонким детским голосом и такими маленькими руками и ногами, что казалось, на них во всей армии не подберешь ни одной пары перчаток и сапог.

Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошенькому лицу строгое выражение, спросила:

— Где раненые?

Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел Малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали семь тяжелораненых. Малышка вошла, посмотрела, сказала:

— Ну вот, сейчас я вас отвезу,— и потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым, а в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного раненого на другого.

Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. Трое лежали с перебитыми ногами, двое были ранены в живот и в грудь, двое — в голову. Малышка физически, всем телом вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из медсанбата — двадцать километров страшных рытвин и ухабов,— и представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, а вот на этих кровоточащих, израненных телах, лежащих перед ней на земле. Она даже поморщилась, словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на ее лицо вернулась обычная добрая улыбка.

Сначала она с санитаром перенесла тех, кто был ранен в ноги,— их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще троих. Теперь в летучке уже не оставалось места, и седьмого некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал, то снова закрывал глаза, впадая в забытье. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого седьмого раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему, чтобы сказать об этом, он, видимо, понял ее движение так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд — мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, оказалось невозможным оставить его здесь.

— Вы можете сидеть в кабине, а? — спросила она.— Сидя ехать можете?

— Могу,— сказал раненый и снова закрыл глаза.

Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему под мышку, дотащила до машины и усадила в кабине на свое место.

— А вы, товарищ военфельдшер? — спросил шофер.

И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил:

— А вы где?

— А я на подножке,— сказала Малышка весело.

— Свалитесь,— угрюмо заметил шофер.

— Не свалюсь,— ответила Малышка и, захлопнув за раненым дверцу, стала на подножку.

— Товарищ военфельдшер...— начал снова шофер.

Но Малышка крикнула, чтобы он ехал, тем строгим, не допускающим возражений голосом, который появлялся у нее тогда, когда дело касалось раненых и когда окружающие не понимали, что она, Малышка,

лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать, чтобы раненым было лучше.

Летучка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах летучка, как утка, переваливалась с боку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который больно отдавался в ушах Малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимало в воздух и ударяло о дно машины. Один раз она сама чуть не свалилась на ухабе, но, все-таки удержавшись, сейчас же сама себе улыбнулась той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности.

К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с подножки, подбежала к знакомой хате, но около хаты, к ее удивлению, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату: там было пусто. В следующей было тоже пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевертывая то на одну, то на другую сторону промокший от крови тюфяк.

— Уехали? — спросила Малышка.

— Да,— сказала хозяйка.— Вот уже час как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло, сложили все и уехали.

Малышка вернулась к своей летучке и, откинув брезент, заглянула внутрь кузова.

— Что, выгружаемся, сестрица? — спросил старый казак, раненный в голову и в лицо и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы.

— Нет, милый,— ответила Малышка.— Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда медсанбат. Мы прямо в госпиталь поедем.

— А далеко это, сестрица? — спросил раненный в живот, лежавший навзничь, и застонал.

— А ты зря языком не трепи,— сердито сказал ему усатый.— Сколько будет, столько и поедем.

И Малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос «далеко ли?», а на то, что раненый стонет при ней. У нее дрожали руки — не от холода, а от усталости, оттого, что всю дорогу приходилось крепко цепляться, чтобы не упасть.

— Замерзли, сестрица? — спросил усатый.

— Нет,— сказала Малышка.

— А то мы потеснимся, садитесь к нам в кузов.

— Нет,— сказала Малышка.— Я ничего. Поедем поскорее.

Она снова стала на подножку, и машина двинулась. Было уже совсем темно. До госпиталя осталось еще двадцать километров. Пошел дождь. Дорога становилась все хуже и хуже. Где-то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох, шофер вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не слезала. Во время этих остановок ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится, а если слезет, то онемевшие пальцы совсем откажут ей. По ее расчетам, машина уже проехала километров пятнадцать, когда начался дождь. Ветер дул навстречу, и косой дождь валил, заливая лицо и глаза. Ей много раз казалось, что вот-вот она свалится.

Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, Малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колени проваливаясь в грязь, побежала к дому, где — она знала — помещался госпиталь. Около дома стояла доверху груженная полуторка, у машины возились двое красноармейцев, пытаясь еще что-то втиснуть в кузов.

— Здесь госпиталь? — спросила Малышка.

— Был здесь,— сказал красноармеец.— Уехал два часа назад. Вот последние медикаменты грузим.

— И никого, кроме вас, нет? — спросила Малышка.

— Никого.

— А куда уехали?

Красноармеец назвал село за сорок километров отсюда.

— Никого тут? Ни врача ни одного, никого? — еще раз спросила Малышка.

— Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли, кто будет приезжать.

Малышка побрела к летучке. Пять минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это кончится, сейчас они приедут: еще пригорок, еще поворот, еще несколько домов — и раненые будут уже в госпитале. А теперь еще сорок километров — еще столько же, сколько они проехали.

Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла:

— Товарищи...

— Что, сестрица? — спросил старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он все понимает.

— Уехал госпиталь,— сказала Малышка упавшим голосом.— Еще сорок километров до него ехать. Ну, как вы? Ничего вам, а? Потерпите?

В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На это раз усатый не прикрикнул на них.

— Дотерпим,— сказал он.— Дотерпим. Ты откуда сама-то, дочка?

— Из-под Каменской,— сказала Малышка.

— Значит, песни казачьи знаешь?

— Знаю,— сказала Малышка, удивленная этим вопросом.

— «Скакал казак через долину, через маньчжурские края», знаешь песню? — спросил усатый.

— Знаю.

— Ну вот, ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не довезешь. Чтоб стонов этих самых не слыхать было, песни играть будем. Поняла? А ты нам тоже подпевай.

— Хорошо,— сказала Малышка.

Она стала на подножку, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи и гудение мотора она услышала, как в кузове сначала один, потом два, потом три голоса затянули песню:

Скакал казак через долину,
Через маньчжурские края.
Скакал он, всадник одинокий,
Блестит колечко на руке...

Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, вот-вот сейчас она перевернется и упадет в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень, перед фарами летела сплошная стена воды. Но в кузове продолжали петь:

Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел. Казак стрелою
В село родное поскакал...

Незаметно для себя она тоже начала подпевать. И когда она запела тоже, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче оттого, что они поют, и если кто-нибудь из них стонет, то другие не слышат.

Через десять километров машина стала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла и заглянула в кузов. Теперь, когда

мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной. Ее выводили во весь голос, старательно — так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете.

Навстречу шла ему старушка
И стала речи говорить...—

заводил усатый хриплым сильным голосом.

«Тебе казачка изменила,
Другому счастье отдала...» —

подтягивали другие.

Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слезы.

— Загаси, чего на нас смотреть,— сердито сказал усатый.— Давай лучше подтягивай.

Заглушая стоны, песня звучала все сильней и сильней, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя.

— Поехали! — крикнул шофер.

Машина тронулась.

Пропев до конца песню, раненые начинали петь ее сначала.

Глубокой ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с Малышкой подошли к летучке, чтобы наконец выгрузить раненых, из кузова все еще лилась песня. Голоса стали тише, трое молчали, должно быть, потеряли сознание, но остальные пели:

«Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня».
Казак свернул коня налево,
Во чисто поле поскакал...

— До свидания, сестрица,— сказал усатый, когда его клали на носилки.— Значит, под Каменской живешь. После войны приеду за сына сватать!

Он был весь мокрый, усы по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент Малышке показалось, что его забинтованное лицо осветилось озорной улыбкой.

Она заснула не раздеваясь, присев на корточки на полу у печки,



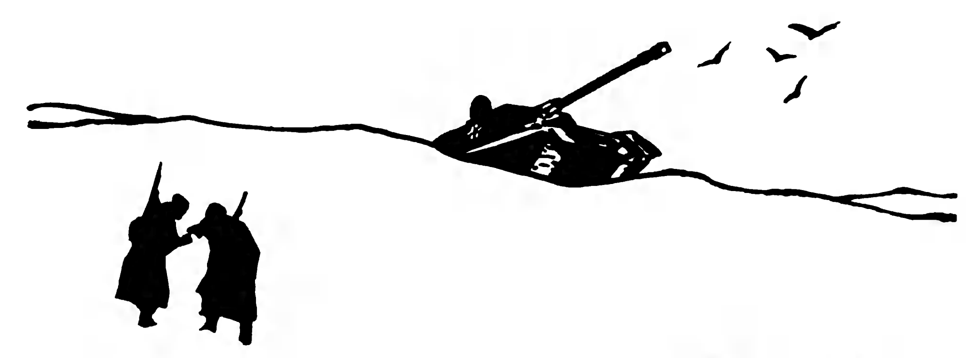
в приемном покое. Ей снилось, что по долине скачет казак, а она едет в своей летучке и никак не может догнать его, а летучка подпрыгивает, и Малышка вздрагивает во сне.

— Замучилась, бедная,— сказал проходивший врач.

Вдвоем с санитаром он стащил с нее промокшие сапоги и, подложив под нее одну шинель, накрыл ее другой.

А шофер, который был настоящим шофером и, уже приехав, все-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором, сидел в хате с другими шоферами, разбирал карбюратор и говорил:

— Восемьдесят километров проехали. Ну, Малышка — ясно — она и черта заставит ехать, если для раненых нужно, одним словом — сестра милосердная.



Пехотинцы

Шел седьмой или восьмой день наступления. В четвертом часу утра начало светать, и Савельев проснулся. Спал он в эту ночь, завернувшись в плащ-палатку, на дне отбитого накануне поздно вечером немецкого окопа. Моросил дождь, но стенки окопа закрывали от ветра, и хотя было и мокро, однако не так уж холодно. Вечером не удалось продвинуться дальше, потому что вся лощина впереди покрывалась огнем неприятеля. Роте было приказано окопаться и ночевать тут.

Разместились уже в темноте, часов в одиннадцать вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди: один боец спит, а другой дежурит. Савельев, по характеру человек терпеливый, любил откладывать самое хорошее «напоследки» и потому сговорился со своим товарищем Юдиным, чтобы тот спал первым. Два часа, до половины второго ночи, Савельев дежурил в окопе, а Юдин спал рядом с ним. В половине второго он растолкал Юдина, тот поднялся, а Савельев, завернувшись в плащ-палатку, заснул. Он проспал почти два с половиной часа и проснулся оттого, что стало светать.

— Светает, что ли? — спросил он у Юдина, выглядывая из-под плащ-палатки не столько для того, чтобы проверить, действительно ли светает, сколько для того, чтобы узнать, не заснул ли Юдин.

— Начинает,— сказал Юдин голосом, в котором чувствовался озноб от утренней свежести.— А ты давай спи пока.

Но спать не пришлось. По окопу прошел их взводный, старшина Егорычев, и приказал подниматься.

Савельев несколько раз потянулся, все еще не вылезая из-под плащ-палатки, потом разом вскочил.

Пришел командир роты старший лейтенант Савин; он с утра обходил все взводы. Собрав их взвод, он объяснил задачу дня: надо преследовать противника, который за ночь отступил, наверное, километра на два, а то и на три, и надо опять его настигнуть. Савин обычно говорил про немцев «фрицы», но когда объяснял задачу дня, то неизменно выражался о них только как о противнике.

— Противник,— говорил он,— должен быть настигнут в ближайший же час. Через пятнадцать минут мы выступим.

Встав в окопе, Савельев старательно подогнал снаряжение. А было на нем, если считать автомат, да диск, да гранаты, да лопатку, да неприкосновенный запас в мешке, без малого пуд, а может, и пуд с малым. На весах он не взвешивал, только каждый день прикидывал на плечах, и, в зависимости от усталости, ему казалось то меньше пуда, то больше.

Когда они выступили, солнце еще не показывалось. Моросил дождь. Трава на луговине была мокрая, и под ней хлюпала раскисшая земля.

— Ишь какое лето паскудное! — сказал Юдин Савельеву.

— Да,— согласился Савельев.— Зато осень будет хорошая. Бабье лето.

— До этого бабьего лета еще довоевать надо,— сказал Юдин, человек смелый, когда дело доходило до боя, но склонный к невеселым размышлениям.

Они спокойно пересекли ту самую луговину, через которую вчера никак нельзя было перейти. Сейчас над всей этой длинной луговиной было совсем тихо, никто ее не обстреливал, и только частые маленькие воронки от мин, то и дело встречавшиеся на дороге, размытые и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шел бой.

Минут через двадцать, пройдя луговину, они дошли до леска, у края которого была линия окопов, оставленных немцами ночью. В окопах валялось несколько банок от противогазов, а там, где стояли минометы, лежало полдюжины ящиков с минами.

— Все-таки бросают,— сказал Савельев.

— Да,— согласился Юдин.— А вот мертвых оттаскивают. Или, может быть, мы никого вчера не убили?

— Быть не может,— возразил Савельев.— Убили.

Тут он заметил, что окоп рядом засыпан свежей землей, а из-под

земли высовывается нога в немецком ботинке с железными широкими шляпками на подошве, и сказал:

— Оттаскивать не оттаскивают, а вот хоронить хоронят,— и кивнул на засыпанный окоп, откуда торчала нога.

Они оба испытали удовлетворение оттого, что Савельев оказался прав. Захватив немецкие позиции и понеся при этом потери, было бы досадно не увидеть ни одного мертвого врага. И хотя они знали, что у немцев имеются убитые, все-таки хотелось убедиться в этом своими глазами.

Через лесок шли осторожно, опасаясь засады. Но засады не оказалось.

Когда они вышли на другую опушку леса, перед ними раскинулось открытое поле. Савельев увидел: впереди, в полукилометре, идет разведка. Но ведь немцы могли ее заметить и пропустить, а потом ударить минами по всей роте. Поэтому, выйдя на поле, бойцы по приказанию старшего лейтенанта Савина развернулись редкой цепью.

Двигались молча, без разговоров. Савельев ждал, что вот-вот может начаться обстрел. Километра за два впереди виднелись холмы. Это была удобная позиция, и там непременно должны были сидеть немцы.

В самом деле, когда разведка ушла еще на километр вперед, Савельев сначала увидел, а потом услышал, как там, где находились разведчики, разорвалось сразу несколько мин. И тут же по холмам ударила наша артиллерия. Савельев знал, что пока нашей артиллерии не удастся подавить эти немецкие минометы или заставить их переменить место, они не перестанут стрелять. И наверное, перенесут огонь и будут пристреливаться по их роте.

Чтобы к этому моменту пройти как можно больше, Савельев и все остальные бойцы пошли вперед быстрее, почти побежали. И хотя до сих пор вещевой мешок оттягивал Савельеву плечи, сейчас, под влиянием начавшегося возбуждения боя, он почти забыл об этом.

Они шли еще минуты три или четыре. Потом где-то неподалеку за спиной Савельева разорвалась мина, и кто-то справа от него, шагах в сорока, вскрикнул и сел на землю.

Савельев обернулся и увидел, как Юдин, который был в одно и то же время бойцом и санитаром, сначала остановился, а потом побежал к раненому.

Следующие мины ударили совсем близко. Бойцы залегли. Когда они вновь вскочили, Савельев успел заметить, что никого не задело.

Так они несколько раз ложились, поднимались, перебегали и прошли километр до маленьких пригорков. Здесь притаилась разведка. В ней все были живы. Противник вел переменный, то минометный, то пулеметный, огонь. Савельеву и его соседям повезло: там, где они залегли, оказались не то что окопы, но что-то вроде них (наверное, их тут начали рыть немцы, а потом бросили). Савельев залег в начатый окоп, отстегнул лопатку, подрыл немного земли и навалил ее перед собой.

Наша артиллерия все еще сильно била по холмам. Немецкие минометы один за другим замолкли. Савельев и его соседи лежали, каждую минуту готовые по команде двинуться дальше. До холмов, где находились немцы, оставалось метров пятьсот по совсем открытому месту. Минут через пять после того, как они залегли, вернулся Юдин.

— Кого ранило? — спросил Савельев.

— Не знаю его фамилии,— ответил Юдин.— Этого, маленького, который вчера с пополнением пришел.

— Сильно ранило?

— Да не так, чтобы очень, а из строя выбыл.

В это время над их головами прошли снаряды «катюш» и сразу холмы, на которых засели немцы, заволоклись сплошным дымом. Видимо, этой минуты и выжидал предупрежденный начальством старший лейтенант Савин. Как только прогремел залп, он передал по цепи приказание подниматься.

Савельев с сожалением поглядел на мокрый окоп и сдвинул с шеи ремень автомата. Несколько минут Савельев, как и другие, бежал, не слыша ни одного выстрела. Когда же до холмиков осталось всего метров двести, а то и меньше, оттуда сразу ударили пулеметы, сначала один — слева, а потом два других — из середины. Савельев с размаху бросился на землю и только тогда почувствовал, что он совсем задохнулся от тяжелого бега и сердце его колотится так, словно ударяет прямо о землю. Кто-то сзади (кто — Савельев в горячке не разобрал), не успевший лечь, закричал не своим голосом.

Над головой Савельева прошел сначала один, потом другой снаряд. Не отрываясь от земли, проведя щекой по мокрой траве, он повернул голову и увидел, что позади, шагах в полутораста, стоят наши легкие пушки и прямо с открытого поля бьют по немцам. Просвистел еще один снаряд. Немецкий пулемет, который бил слева, замолчал. И в тот же момент Савельев увидел, как старшина Егорычев, лежавший через четыре человека слева от него, не поднимаясь, взмахнул рукой, показал ею

вперед и пополз по-пластунски. Савельев последовал за ним. Ползти было тяжело, место было низкое и мокрое. Когда он, подтягиваясь вперед, ухватывался за траву, она резала пальцы.

Пока он полз, пушки продолжали посылать снаряды через его голову. И хотя впереди немецкие пулеметы тоже не умолкали, но от этих своих пушечных выстрелов ему казалось, что ползти легче.

Теперь до немцев было рукой подать. Пулеметные очереди шевелили траву то сзади, то сбоку. Савельев прополз еще шагов десять и, наверное, так же как и другие, почувствовал, что вот сейчас или минутой позже нужно будет вскочить и во весь рост пробежать оставшиеся сто метров.

Пушки, находившиеся позади, выстрелили еще несколько раз порознь, потом ударили залпом. Впереди взметнулась взлетевшая с бруствера окопов земля, и в ту же секунду Савельев услышал свисток командира роты. Скинув с плеч вещевой мешок (он подумал, что придет за ним потом, когда они возьмут окопы), Савельев вскочил и на бегу дал очередь из автомата. Он оступился в незаметную ямку, ударился оземь, вскочил и снова побежал. В эти минуты у него было только одно желание: поскорее добежать до немецкого окопа и спрыгнуть в него. Он не думал о том, чем его встретит немец. Он знал, что если он спрыгнет в окоп, то самое страшное будет позади, хотя бы там сидело сколько хочешь немцев. А самое страшное — вот эти оставшиеся метры, когда нужно бежать открытой грудью вперед и уже нечем прикрыться.

Когда он оступился, упал и снова поднялся, товарищи слева и справа обогнали его, и поэтому, вскочив на бруствер и нырнув вниз, он увидел там лежавшего ничком уже убитого немца, а впереди себя — мокрую от дождя гимнастерку бойца, бежавшего дальше по ходу сообщения. Он побежал было вслед за бойцом, но потом свернул по окопу налево и с маху наткнулся на немца, который выскочил навстречу ему. Они столкнулись в узком окопе, и Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, а ткнул немца в грудь автоматом, и тот упал. Савельев потерял равновесие и тоже упал на колено. Поднялся он с трудом, опираясь рукой о скользкую, мокрую стенку окопа. В это время оттуда же, откуда выскочил немец, появился старшина Егорычев, который, должно быть, гнался за этим немцем. У Егорычева было бледное лицо и злые, сверкающие глаза.

— Убитый? — спросил он, столкнувшись с Савельевым и кивнув на лежавшего.





Но немец, словно опровергая слова Егорычева, что-то забормотал и стал подниматься со дна окопа. Это ему никак не удавалось, потому что окоп был скользкий, а руки у немца были подняты кверху.

— Вставай! Вставай, ты! Хенде нихт,— сказал Савельев немцу, желая объяснить, что тот может опустить руки.

Но немец опустить руки боялся и все пытался встать. Тогда Егорычев поднял его за шиворот одной рукой и поставил в окопе между собой и Савельевым.

— Отведи его к старшему лейтенанту,— сказал Егорычев,— а я пойду,— и скрылся за поворотом окопа.

С трудом разминувшись с немцем в окопе и подталкивая его, Савельев повел пленного впереди себя. Они прошли окоп, где лежал, раскинувшись, тот мертвый немец, которого, вскочив в окоп, увидел Савельев, потом повернули в ход сообщения, и глазам Савельева открылись результаты действия «катюш».

Всё и в самом ходе сообщения и по краям его было сожжено и засыпано серым пеплом; поодаль друг от друга были разметаны в траншее и наверху трупы немцев. Один лежал, свесив в траншею голову и руки.

«Наверное, хотел спрыгнуть, да не успел»,— подумал Савельев.

Штаб роты Савельев нашел возле полуразбитой немецкой землянки, вырытой тут же, рядом с окопами. Как и все здесь, она была сделана наспех: должно быть, немцы вырыли ее только за вчерашний день. Во всяком случае, это ничем не напоминало прежние прочные немецкие блиндажи и аккуратные окопы, которые Савельев видел в первый день

наступления, когда была прорвана главная линия немецкой обороны. «Не поспевают»,— с удовольствием подумал он. И, повернувшись к командиру роты, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, старшина Егорычев приказал пленного доставить.

— Хорошо, доставляйте,— сказал Савин.

В проходе землянки стояли еще трое пленных немцев, которых охранял незнакомый Савельеву автоматчик.

— Вот тебе еще одного фрица, браток,— сказал Савельев.

— Сержант! — окликнул в эту минуту старший лейтенант автоматчика.— Когда все соберутся к вам, возьмите с собой еще одного легкораненого и поведете пленных в батальон.

Тут Савельев увидел, что у автоматчика перевязана левая рука и автомат он держит одной правой рукой.

Савельев пошел обратно по окопам и через минуту отыскал Егорычева и еще нескольких своих. В отбитых окопах все уже приходило в порядок, и бойцы устраивали себе места для удобной стрельбы.

— А где Юдин, товарищ старшина? — спросил Савельев, беспокоясь за друга.

— Он назад пошел, там раненых перевязывает.

И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжелая должность у Юдина: он делает то же, что и Савельев, да еще ходит вытаскивать раненых и перевязывает их. «Может, он с усталости такой ворчливый»,— подумал Савельев про Юдина.

Егорычев указал ему место, и он, вытащив лопатку, стал расширять себе ячейку, чтобы все приспособить поудобнее на всякий случай.

— Их тут не так много и было-то,— сказал Егорычев, занимавшийся рядом с Савельевым установкой пулемета.— Как их «катюшами» накрыло, видал?

— Видал,— сказал Савельев.

— Как «катюшами» накрыло, так их совсем мало осталось. Прямо-таки замечательно-удивительно накрыло их! — повторил Егорычев.

Савельев уже заметил, что у Егорычева была привычка говорить «замечательно-удивительно» скороговоркой, в одно слово, но говорил он это изредка, когда что-нибудь особенно восхищало его.

Савельев набрасывал лопаткой земляной бруствер, а сам все время думал, как хорошо было бы закурить. Но Юдин все еще не возвращал-

ся, а закурить одному было совестно. Однако едва успел он сделать себе «козырек», как вернулся и Юдин.

— Закурим, Юдин? — обрадовался Савельев.

— А высохла?

— Должна высохнуть,— весело отозвался Савельев и стал отвинчивать крышку трофейной масленки, которую он накануне нашел в окопе и приспособил под табак.

— Товарищ старшина, закурить желаете? — обратился он к Егорычеву.

— А что, махорка есть?

— Есть, только сыроватая.

— Давай,— согласился Егорычев.

Савельев взял две маленькие щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдину, которые уже приготовили бумажки. Потом взял третью щепотку себе. Раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой взметнулась земля, и они все трое присели на корточки.

— Скажи пожалуйста! — удивился Егорычев.— Махорку-то не просыпали?

— Нет, не просыпали, товарищ старшина! — отозвался Юдин.

Присев в окопе, они стали свертывать цигарки, а Савельев, с огорчением посмотрев на свои руки, увидел, что весь табак, какой был у него на бумажке, просыпался наземь. Он посмотрел вниз: там стояла вода, и махорка совсем пропала. Тогда, открыв масленку, он с сожалением насыпал себе еще щепотку; он думал, что осталось на две завертки, а теперь выходило, что остается только на одну.

Едва они успели закурить, как опять начали рваться снаряды. Иногда комья земли падали прямо в окоп, в стоявшую на дне воду.

— Наверное, заранее пристрелялись,— сказал Егорычев.— Рассчитывали, что не устоят тут.

Новый снаряд разорвался в самом окопе, близко, но за поворотом. Их никого не тронуло. Савельев, выглянув за бруствер окопа, посмотрел в немецкую сторону: там не было заметно никакого движения. Егорычев вынул из кармана часы, посмотрел на них и молча спрятал обратно.

— Который час, товарищ старшина? — спросил Савельев.

— А ну, который? — в свою очередь, спросил Егорычев.

Савельев посмотрел на небо, но по небу трудно было что-нибудь определить: оно было совершенно серое и по-прежнему моросил дождь.

— Да часов десять утра будет,— сказал он.

— А по-твоему, Юдин? — спросил Егорычев.

— Да уж полдень небось,— сказал Юдин.

— Четыре часа,— сказал Егорычев.

И хотя в такие дни, как этот, Савельев всегда ошибался во времени и вечер приходил всегда неожиданно, тем не менее он лишний раз удивился тому, как быстро летит время.

— Неужто четыре часа? — переспросил он.

— Вот тебе и «неужто»,— ответил Егорычев.— С минутами.

Немецкая артиллерия стреляла еще довольно долго, но безрезультатно. Потом снова в самом окопе, но теперь поодаль разорвался один снаряд, и оттуда сразу позвали Юдина. Юдин пробыл там минут десять. Вдруг снова просвистел снаряд, и там, где находился Юдин, раздался взрыв. Потом опять затихло, немцы больше не стреляли.

Спустя несколько минут к Савельеву подошел Юдин. Лицо его было совершенно бледное, ни кровинки.

— Что ты, Юдин? — удивился Савельев.

— Ничего,— спокойно сказал Юдин.— Ранило меня.

Савельев увидел, что рукав гимнастерки у Юдина разрезан во всю длину, рука заправлена за пояс и прибинтована к телу. Савельев знал, что так делают при серьезных ранениях.

«Пожалуй, перебита»,— подумал Савельев.

— Как вышло-то? — спросил он Юдина.

— Там Воробьева ранило,— пояснил Юдин.— Я его перевязывал, и аккурат ударило. Воробьева убило, а меня... вот видишь...

Он присел в окопе, прежде чем уйти.

— Закури на дорожку,— предложил Савельев.

Он снова достал свою трофейную масленку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась, на две, но устыдился своей мысли, свернул из всего табака большую цигарку и протянул Юдину. Тот левой, здоровой рукой взял цигарку и попросил дать огня.

Немцы совсем не стреляли. Стояла тишина.

— Ну, пока не стреляют, я пойду, дружище,— сказал Юдин и поднялся.

Зажав цигарку в уголке рта, он протянул Савельеву здоровую руку.

— Ты это...— сказал Савельев и замолчал, потому что подумал: вдруг у Юдина отнимут руку.

— Что «это»?

— Ты поправляйся и обратно приходи.

— Да нет,— сказал Юдин.— Коли поправлюсь, так все одно в другую часть попаду. У тебя адрес мой имеется. Если после войны будешь через Поныри проезжать, слезь и зайди. А так — прощай. На войне едва ли свидимся.

Он пожал руку Савельеву. Тот не нашелся, что сказать ему, и Юдин, неловко помогая себе одной рукой, вылез из окопа и, немного сутулясь, медленно пошел по полю назад.

«Привык, наверное, я к нему»,— глядя вслед, подумал Савельев, не понимая еще того, что он не привык к Юдину, а полюбил его.

Чтобы провести время, Савельев решил пожевать сухарь. Но только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопов. Он попросил разрешения у Егорычева, вылез из окопа и пошел туда, где, по его расчетам, лежал вещевой мешок. Впереди виднелась фигура Юдина, но Савельев не окликнул его. Что он мог ему еще сказать?

Минут через пять он отыскал свой мешок и пошел обратно.

Вдруг он увидел то, что наблюдатель, сидевший в окопе ниже его, увидел на несколько секунд позже. Впереди, левее леска, лежащего на горизонте, шли немецкие танки, штук десять или двенадцать. Увидев танки, хотя они еще не стреляли, Савельев захотел поскорее добежать до окопа и спрыгнуть вниз. Не успел он это сделать, как танки открыли огонь,— не по нему, конечно, но Савельеву казалось, что именно по нему. Запыхавшись, он спрыгнул в окоп, где Егорычев уже приказывал готовить гранаты.

Боец Андреев, долговязый бронебойщик из их взвода, пристраивал в окопе поудобнее свою большую «дегтяревку». Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер противотанковую гранату; она была у него только одна, вторую он дней пять назад, погорячившись, кинул в немецкий танк, когда тот был еще метров за сто от него. И конечно, граната разорвалась совсем попусту, не причинив танку никакого вреда. В тот раз, заметив оплошность Савельева, Егорычев отругал его, да Савельеву и самому было неловко, потому что выходило, будто он струсил, а про себя он знал, что на самом деле не струсил, а только погорячился. И сейчас, отстегивая от пояса гранату, он решил, что, если танк пойдет в его сторону, он бросит гранату только тогда, когда танк будет совсем близко.

Но танки шли куда-то левее и дальше. Только два танка, самые крайние, отделились и, казалось, шли именно на них.

— Главное — сиди и жди,— сказал, проходя мимо, старший лейтенант Савин, который обходил окопы и всем так говорил.— Сиди и жди и бросай вслед ему, когда он пройдет. Будешь сидеть спокойно, ничем он тебя не возьмет.

Он прошел дальше, и Савельев слышал, как он теми же словами наставлял другого бойца.

Немецкие танки стреляли непрерывно на ходу. То над головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Один танк шел слева, другой — прямо на него. Савельев опять нырнул в окоп. И хотя танк, который шел слева, был больше—это был «тигр»,— а тот, который шел на Савельева,— обыкновенный средний танк, но потому, что он был ближе, Савельеву показалось, что он самый большой. Он приподнял с бруствера гранату и прикинул ее на руке. Граната была тяжелая, и от этого ему стало как-то спокойнее.

В это время сбоку стал стрелять бронебойщик Андреев.

Когда Савельев выглянул еще раз, танк был уже в двадцати шагах. Едва успел он укрыться на дне окопа, как танк прогрохотал над самой его головой, на него пахнуло сверху чужим запахом, гарью и дымом и посыпалась с краев окопа земля. Савельев прижал к себе гранату, как будто боялся, что ее отнимут.

Танк перевалил через окоп. Савельев вскочил, подтянулся на руках, лег животом на край окопа, потом выскочил совсем и бросил гранату вслед танку, целясь под гусеницу. Он бросил гранату со всей силой и, не удержавшись, упал вперед на землю. А затем, зажмурясь, повернулся и спрыгнул в окоп. Лежа в окопе, он все еще слышал рев танка и подумал, что, наверное, промахнулся. Тогда его охватило любопытство; хотя было страшно, он приподнялся и выглянул из окопа. Танк, гремя, поворачивался на одной гусенице, а вторая, как распластанная железная дорожка, волочилась за ним. Савельев понял, что попал.

В этот момент над его головой просвистели один за другим два снаряда. Едва Савельев снова укрылся в окопе, как раздался оглушительный взрыв.

— Смотри, горит! — крикнул Андреев, который, поднявшись в окопе, поворачивал свою бронебойку в ту сторону, где находился танк.— Горит! — крикнул он еще раз.

Савельев, приподнявшись над окопом, увидел, что танк вспыхнул и весь загорелся.

Другие танки были далеко влево; один горел, остальные шли, но в эту минуту Савельев не мог бы сказать, вперед ли они идут или назад. Когда он бросал гранату и когда взорвался танк, все в голове у него спуталось.

— Ты ему гусеницу подбил,— сказал почему-то шепотом Андреев.— Он остановился, а она как вмажет ему!

Савельев понял, что Андреев имеет в виду противотанковую пушку.

Остальные танки ушли совсем куда-то влево и скрылись из виду. По окопам стали сильно бить немецкие минометы.

Так продолжалось часа полтора и наконец прекратилось. В окоп пришел старший лейтенант Савин вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона.

— Вот он подбил фашистский танк,— сказал командир роты, остановившись около Савельева.

Савельев удивился его словам: он никому еще не говорил, что подбил танк, но старший лейтенант уже знал об этом.

— Ну что же, представим,— сказал Матвеев.— Молодец! — и пожал руку Савельеву.— Как же вы его подбили?

— Он как надо мной прошел, я выскочил и кинул ему гранату в гусеницу,— сказал Савельев.

— Молодец! — повторил Матвеев.

— Ему еще медаль за старое причитается,— сказал старший лейтенант.

— А я принес,— сказал капитан Матвеев.— Я вам четыре медали в роту принес. Прикажите, чтобы бойцы пришли и командир взвода.

Старший лейтенант ушел, а капитан, присев в окопе рядом с Савельевым, порылся в кармане своей гимнастерки, вынул несколько удостоверений с печатями и отобрал одно. Потом он вынул из другого кармана коробочку и из нее медаль. К ним подошли старший лейтенант и старшина.

Савельев поднялся и, словно он находился в строю, замер, как по команде «смирно».

— Красноармеец Савельев,— обратился к нему капитан Матвеев,— от имени Верховного Совета и командования в награду за вашу боевую доблесть вручаю вам медаль «За отвагу».

— Служу Советскому Союзу! — ответил Савельев.

Он взял медаль задрожавшими руками и чуть не уронил.

— Ну вот,— сказал капитан, то ли не зная, что еще сказать, то ли считая дальнейшие слова ненужными.— Поздравляю и благодарю вас. Воюйте! — И он пошел дальше по окопу, в соседний взвод.

— Слушай, старшина,— сказал Савельев, когда все остальные ушли.

— Да?

— Привинти-ка.

Егорычев полез в карман, достал перочинный ножик на цепочке, не торопясь открыл его, расстегнул ворот гимнастерки Савельева, подлез рукой, проткнул ножом и прикрепил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастерке Савельева.

— Жаль, закурить нечего по этому случаю! — сказал Егорычев.

— Ничего, и так обойдется,— сказал Савельев.

Егорычев полез в карман, вытащил жестяной портсигар, открыл его, и Савельев увидел на дне портсигара немного табачной пыли.

— Для такого раза не пожалею,— сказал Егорычев.— На крайний случай берег.

Они свернули по цигарке и закурили.

— Что же это, затихло? — сказал Савельев.

— Затихло,— согласился Егорычев.— А ты давай сухарей пожуй. Нужно, чтобы все поели,— я приказание отдам. А то, может быть, как раз и пойдем.— И он отошел от Савельева.

Где-то впереди, слева, еще сильно стреляли, а тут было тихо — то ли немцы что-нибудь готовили, то ли отошли.

Савельев посидел с минуту, потом, вспомнив слова старшины, что, может быть, и правда они тронутся, вытащил из мешка сухарь и, хотя ему не хотелось есть, стал его грызть.

На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев.

Немцы не стреляли потому, что на левом фланге их сильно потеснили и они отошли километра на три, за небольшую заболоченную реку. В момент, когда Савельев сидел в тишине и грыз сухарь, в полку уже было дано приказание батальону двигаться вперед и выйти к самой реке, с тем чтобы ночью форсировать ее.

Прошло пятнадцать минут, и старший лейтенант Савин поднял роту. Савельев так же, как и другие, уложил снова вещевой мешок, закинул его за плечи, вышел из окопа и зашагал. До леска дошли благополуч-

но. Уже начинало темнеть. Когда пересекли рощицу и выходили на ее опушку, Савельев увидел сначала сгоревший немецкий танк, а шагах в ста от него — наш, тоже сгоревший. Они совсем близко прошли мимо этого танка, и Савельев различил цифру «120». «Сто двадцать, сто двадцать»,— подумал он. Эту цифру, казалось, он недавно видел перед собой. И вдруг он вспомнил, как позавчера, когда они, усталые, в пятый раз поднялись и пошли вперед, им попались стоявшие в укрытиях танки и на одном из танков была цифра «120». Юдин, у которого был злой язык, на ходу сказал танкистам, высунувшимся из люка:

— Что ж, пошли в атаку вместе?

Один из танкистов покачал головой и сказал:

— Нам сейчас не время.

— Ладно, ладно,— сердито сказал Юдин.— Вот как в город будем входить, так вы туда и въезжайте, как гордые танкисты, и пусть вам девушки цветы дарят...

Он еще выругался тогда и пошел дальше. Савельеву тоже показалось в ту минуту обидным, что вот они идут вперед, а танкисты чего-то ждут.

Проходя мимо сожженного танка, он с огорчением вспомнил об этом разговоре и подумал, что они живы, а сидевшие в броне танкисты, наверное, погибли в бою. А Юдин, вероятно, идет, если уже не дошел, в медсанбат с перебитой рукой, перехваченной поясом.

«Такое дело — война,— подумал Савельев,— нельзя на ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра прощения просить поздно».

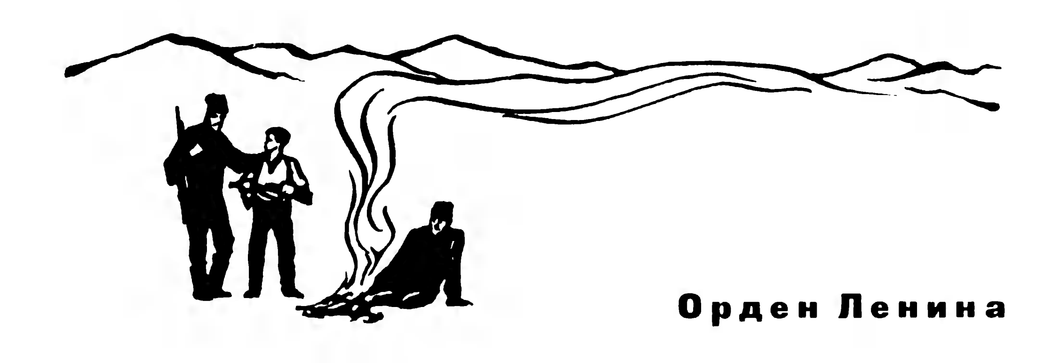
В темноте они вышли на низкую луговину, которая переходила в болото. Река была совсем близко.

Как сказал старший лейтенант Савин, нужно было к 24.00 сосредоточиться и потом форсировать реку. Савельев вместе с другими уже шел по самому болоту, осторожно, чтобы не зашуметь, ступая в подававшуюся под ногами трясину. Он немного не дошел до берега, как вдруг над головой его провыла первая мина и ударилась в грязь где-то далеко за ним. Потом завыла другая и ударилась ближе. Они залегли, и Савельев стал быстро копать мокрую землю. А мины все шлепались и шлепались в болото то слева, то справа.

Ночь была темная. Савельев лежал молча, ему хотелось во что бы то ни стало поскорее переправиться через реку.

Под свист мин и хлюпанье воды ему приходили на память все события нынешнего дня. Он вспоминал то Юдина, который, может быть, все еще идет по дороге, то сгоревший танк, экипаж которого они когда-то обидели, то распластавшуюся, как змея, гусеницу подбитого им немецкого танка, то, наконец, взводного Егорычева и последнюю табачную пыль на дне его портсигара. Больше закурить сегодня не предвиделось.

Было холодно, неуютно, и очень хотелось курить. Если бы Савельеву пришло в голову считать дни, что он воюет, то он бы легко сосчитал, что как раз сегодня кончался восьмисотый день войны.



Орден Ленина

Уже под утро, в ту первую ночь, когда меня перебросили в Южную Сербию к югославским партизанам, мы, четверо русских, после бесконечных разговоров о Москве наконец все-таки решили лечь спать. Полковник, старший среди нас, сел на сено, накрытое полотнищами грузовых парашютов и служившее нам общей постелью, и, подав этим сигнал остальным, первый начал стаскивать с себя гимнастерку. При этом он невольно вывернул ее наизнанку, и я с удивлением увидел, что внутри, против нагрудного кармана гимнастерки, был привернут орден Ленина с большим круглым отверстием посредине, очевидно пробитым пулей.

— Не мой,— сказал полковник, встретив мой взгляд.— Только держу на хранении, привернул, чтоб, не дай бог, не потерять.

Он приподнялся, прислонился к мешкам с трепаной коноплей, заменявшим нам подушки, и, закурив сигаретку, рассказал мне первую из многочисленных историй, услышанных мною здесь потом.

— Летчик Владимир Сергеевич Ерихонов, старый пилот-миллионер гражданского воздушного флота, был подожжен немецким ночным истребителем недалеко от Загреба, в ночь своего семьдесят третьего полета к партизанам. Самолет горел и начинал разваливаться в воздухе. Ерихонов выбросился последним. Приземляясь, он сломал ногу, и, когда через двое суток его, единственного из всего экипажа, нашли партизаны, он не мог сделать ни шагу без посторонней помощи. Собственно, его нашли не партизаны, а один партизан, Мирко Николич, тринадцатилетний хорватский мальчик, отличавшийся от всех других

мальчиков своего возраста двумя вещами: во-первых, на груди его был значок с цифрой «1941», означавший, что Мирко Николич партизанит уже три года, и, во-вторых, у него через плечо на веревке висел немецкий автомат, из которого он умел хорошо стрелять. Эти две отличавшие его вещи, в свою очередь, породили в его характере два свойства: не удивляться и не пугаться при виде смерти и очень сердиться при всяком праздном упоминании о его возрасте, особенно со стороны людей, у которых не было такого значка с цифрой «1941», какой был у него.

В остальном он был вполне ребенок, доверчивый, наивный и любопытный.

Когда он, отправившись за ягодами (потому что в батальоне пятые сутки нечего было есть), вдруг наткнулся на сидевшего у скалы с револьвером в руке Ерихонова, он обрадовался, в первый раз в жизни увидав русского летчика.

Заметив звезду на пилотке мальчика, Ерихонов положил на землю револьвер, вздохнул и облегченно выругался разом за все: и за гибель самолета, и за сломанную ногу, и за двухсуточный страх плена.

Первые русские слова, которые таким образом услышал Мирко Николич, были отнюдь не цитатой из Тургенева. К счастью, он их не понял. Он понял только, что это летчик — по шлему, что это русский — по обмундированию и что это больной — по неестественно согнутой, безжизненно торчавшей ноге.

Объяснить самым деловым образом, что сейчас он пойдет за помощью, было для Мирко делом одной минуты. Ерихонов кивнул — он понял. Теперь надо было, не теряя времени, бежать за лошадью. Но в душе Мирко ребенок взял свое. Он опустился на колени рядом с Ерихоновым и уставился глазами в заинтересовавший его предмет.

На груди у русского летчика был портрет Ленина — несомненно, это был портрет Ленина, Мирко знал его лицо,— но только почему-то очень маленький, круглый и сделанный из золота и серебра.

«Ленин?» — спросил Мирко.

«Ленин»,— ответил Ерихонов, попробовал поудобнее сесть и крякнул от боли.

Мирко вскочил, положил рядом с Ерихоновым свой автомат и, показав жестом, что надо делать из автомата, если появится до его прихода кто-нибудь чужой, убежал. Через час партизаны пришли с лошадью и забрали Ерихонова к себе. Надо сказать, что Ерихонов попал к ним в неудачное время. Уже третью неделю здесь шла большая немецкая

эфанзива (так партизаны называли наступление), и приходилось уходить все дальше в горы, каждую ночь меняя место. Батальон, первоначально оставленный в арьергарде, был давно отрезан от всех остальных и мог рассчитывать только на свои силы.

Фельдшер наложил на сломанную ногу Ерихонова грубые лубки веревками, и медицинская помощь на этом кончилась.

Лубки по указаниям фельдшера вытесывал из молодой елки сам Мирко, он же помогал стягивать веревки. И теперь, когда Ерихонов ехал, лежа на скрипучей узкой арбе, Мирко шел следом, то заговаривая с Ерихоновым, то молча шевеля губами и по целым часам думая о чем-то своем.

На третьи сутки, после короткого боя, партизаны еще раз повернули и забрались в совершенную горную глушь. Арбу пришлось бросить. Ерихонова посадили на лошадь верхом, подвязав справа к седлу доску, на которую Ерихонов мог положить свою сломанную ногу.

Мирко по-прежнему шел с ним, только теперь не сзади, а рядом и всегда со стороны больной ноги. Он охранял ногу Ерихонова, отгибал и ломал ветки и иногда брал лошадь под уздцы.

Так прошло больше недели. Несколько человек было убито. Кое-как перевязанные раненые, закусив губы, карабкались по камням рядом со здоровыми. Один, у которого были перебиты ноги, не предупредив никого, застрелился. Он не мог идти, а на единственной лошади, принадлежавшей раньше командиру батальона, ехал Ерихонов.

С общего молчаливого согласия честь заботиться о Ерихонове была предоставлена Мирко. Он поил Ерихонова водой из своей немецкой фляжки, он ощипывал и жарил ему на костре птиц, если удавалось их подстрелить. Когда же вовсе нечего было есть, он вдруг исчезал, уступив на время свое место другому партизану, и возвращался, неся в руках пилотку, в которой лежало несколько огрызков сухарей, крошечных кусочков засохшего сыра и два или три стручка паприки. Партизаны отдавали для русского последнее, что у них было припасено на совсем уже черный день.

Мирко не приходилось просить их об этом, он просто молча шел от одного к другому, и они знали, что сегодня он сам не достал ничего, чем можно покормить русского, и так же молча, как и он, шарили по карманам и ссыпали ему в пилотку последние крохи.

Подойдя к Ерихонову, Мирко протягивал ему пилотку и вдруг становился необычайно говорливым. Он чувствовал подозрительный взгляд

летчика и изо всех сил старался не дать ему заговорить и спросить, откуда берется эта еда. Он задавал Ерихонову множество вопросов о Москве, о русской армии, о его полетах, и Ерихонов, который все еще понимал хорватский язык только с пятого на десятое, невольно отвлекался, пытаясь подыскать понятные для мальчика слова.

На третий или четвертый раз Ерихонов, приняв от Мирко пилотку, стиснул ее в свободной от поводьев руке и, не притрагиваясь к еде, приказал Мирко взять лошадь под уздцы и отвезти его к командиру батальона Николе Петричу.

Петрич был рослый, угрюмый белградский металлист, молчаливый и в обычных обстоятельствах, а в последние дни вообще не выдавливавший из себя ни одного слова, кроме самых необходимых приказаний.

«Откуда эта еда? — сухо спросил Ерихонов, подъехав к нему.— Я не хочу есть один, когда все другие голодают».

Петрич посмотрел на дно пилотки, потом на Ерихонова и понял, что лгать в этих обстоятельствах бесполезно.

«Ты тоже сбрасывал нам пушки, машинки и патроны не потому, что они там, у тебя в России, были лишние»,— сказал Петрич.

«Все равно, если так будет продолжаться, я буду выбрасывать это на землю»,— упрямо ответил Ерихонов.

«Как хочешь,— сказал Петрич и, кивнув сначала на Мирко, а потом на пилотку, добавил: — Он все равно будет тебе приносить эти крохи каждый день, если не будет другой еды».

Они с минуту упрямо смотрели друг другу в глаза, потом Петрич повернулся и отошел.

Он возвращался по тропинке на свое обычное место в голове отряда и думал о том, что этот русский летчик — упрямый человек, но тем не менее нельзя отказываться от этой еды человеку, который семьдесят два раза (Петрич знал это от Мирко) перелетал ночью через горы, над головами немцев и, наверное, вооружил не одну и не две партизанские бригады, а теперь со сломанной ногой ехал на его лошади.

Петрич, как и большинство окружавших его людей, редко и неохотно говорил вслух о своем отношении к русским, но само собой подразумевалось, что последний сухарь в батальоне съест именно этот русский, и так же ясно было, что если придет конец, то будет сделано все, чтобы русский спасся.

Что до Ерихонова, то он, не притронувшись к еде, засунул пилотку

в седельный карман. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы на следующий день Мирко не подстрелил из автомата какую-то малосъедобную, но большую птицу. Ее хватило им на целых два дня. А на третий день после этого разговора остатки батальона были загнаны в глубокое ущелье, почти не имевшее выходов. Оставалась только надежда неожиданно перевалить через неприступную вершину горы и так, может быть, выйти к своим. Но прямо через гору не было даже тропок, и лошадь не могла пройти. Нести Ерихонова на носилках было безнадежным делом — носильщики сорвались бы в пропасть вместе с ним.

Из ущелья, правда, вела в обход горы еще одна тропа, но она выходила на равнину, где в каждом селе был немецкий гарнизон. Отряд не мог идти туда, но два-три человека, пожалуй, смогли бы там спрятаться и потом незаметно исчезнуть.

Петрич вызвал к себе двух автоматчиков и Мирко.

«Вы пойдете с русским по тропинке в обход горы»,— сказал он автоматчикам.

Он объяснил, как и куда сворачивает тропинка: сначала нужно повернуть влево, а потом, когда будет развилка,— вправо.

«Вы дойдете с ним до ближайшего села и спрячете его там, пока он не выздоровеет».

«Нас, наверное, на тропе встретят немцы»,— покачав головой, сказал один из автоматчиков.

«Не знаю. Думаю, что они знают, что мы туда не пойдем. Во всяком случае, когда вы уйдете, мы здесь начнем бой: все немцы, что есть поблизости, пойдут на нас».

«Как же ты начнешь бой?» — снова рассудительно заговорил автоматчик, знавший, что главная надежда для батальона заключалась в том, чтобы начать взбираться на голую вершину сейчас же, в сумерках, и ночью.

Петрич поморщился. Он знал это и сам.

«Вы должны спасти летчика. Он русский, и он летчик»,— сказал он и отвел в сторону Мирко.

«Ты нашел летчика, ты должен его довести.— В голосе его не чувствовалось никакого снисхождения к возрасту Мирко.— Ну, иди».

Петрич похлопал его по плечу, повернулся и ушел.

Через десять минут два автоматчика, Мирко и Ерихонов двинулись по еле заметной тропке, шедшей вдоль горы, мимо немцев.

Когда Мирко сказал Ерихонову о предстоящем пути, умолчав, однако, о том, что Петрич будет тем временем вести бой, Ерихонов кивнул головой и сказал только два слова: «Ладно, Николич». Вынув пистолет из кобуры, он положил его за пазуху.

Мирко звал Ерихонова так же, как звали друг друга все партизаны,— на «ты» и по имени — Володей.

Что же до Ерихонова, то он всегда называл Мирко по фамилии — Николичем; он привык называть по фамилиям товарищей в своей летной части. Но сейчас это привычное обращение: «Ладно, Николич» — прозвучало неожиданно грустно, словно они прощались, и Мирко вздрогнул, подумав о предстоящей опасности.

Через полчаса, когда стало смеркаться, они услышали позади себя перестрелку. Сначала послышались автоматные очереди, потом начали стрелять минометы — все чаще и чаще.

Ерихонов остановил лошадь и прислушался. Мирко видел в полутьме его удивленное, печальное лицо.

«Володя, поедем»,— сказал Мирко.

«Подожди!»

Ерихонов долго прислушивался, потом молча повернул лошадь и поехал назад. Он все понял.

Мирко забежал вперед и схватил лошадь под уздцы.

«Володя!» — умоляюще повторил он, глядя в глаза Ерихонову.

Оба автоматчика тоже стали перед лошадью Ерихонова, загораживая ему дорогу.

«Уйди!» — не своим голосом крикнул Ерихонов и дернул поводья. Но Мирко и оба автоматчика продолжали стоять неподвижно.

Стрельба все разгоралась. Ерихонов понимал, что поздно что-нибудь изменить, что для этих людей, которые сейчас дрались там, спасая ему жизнь, не могло быть ничего страшней и бессмысленней его возвращения, и, однако, ему было не легче от этого. Стыд и отчаянье овладели им.

«Эх, вы! И помереть-то вместе со всеми, как человеку, не даете»,— сказал он и неожиданно для себя заплакал — первый раз за три года войны.

Теперь он относился ко всему безучастно. Мирко повернул его лошадь и повел ее под уздцы. Ерихонов ехал молча, угрюмо опустив голову, и за всю ночь не сказал больше ни одного слова.

За ночь они два раза повернули так, как им сказал Петрич. Второй

раз Мирко долго сомневался: ему казалось, что идущая влево тропа — не тропа, а просто след высохшего ручья, но, посоветовавшись, они все-таки решили, что это развилка двух троп, и повернули направо.

На рассвете, поднимаясь по крутому склону и выехав из-за большого камня, они наткнулись на немцев. Немцы, как и ожидал Петрич, ушли туда, где был бой, однако патруль из четырех человек они все же на тропинке оставили.

Их было четверо на четверо. Но немцы, потому что Ерихонов ехал верхом, первые заметили их и первыми начали стрелять.

Один автоматчик сразу молча упал, другой залег за осыпь камней и, хрипло крикнув: «Мирко, уведи летчика!» — дал первую очередь.

Мирко изо всей силы наотмашь ударил рукой лошадь по крупу, она повернулась и бросилась вскачь назад, но Ерихонов, натянув поводья, круто остановил ее за огромным камнем, стоявшим у дороги. Перекинув здоровую ногу, он неловко пытался слезть с лошади.

«Володя!» — почти плача, крикнул Мирко.

Ерихонов не слушал его, он вытащил из-за пазухи револьвер и все пытался высвободить застрявшую ногу и слезть.

Мирко в отчаянье схватил лошадь под уздцы и силой потянул ее назад под гору.

Автоматная очередь задребезжала по камню, и Мирко увидел, что Ерихонов бессильно обвисает на лошади.

«Уведи летчика!» — еще раз, между двумя очередями, крикнул автоматчик.

Мирко вскочил на круп лошади, ухватил одной рукой поводья, а другой с недетской силой обнял Ерихонова и, дернув лошадь, выскочил из-за камня обратно на тропу.

Тропа шла под уклон. Лошадь, спотыкаясь, отчаянно запрыгала с камня на камень, все быстрее и быстрее, потом сползла, упираясь копытами, по каменной осыпи и галопом помчалась по узкому каменному руслу ручья между трещавшими и смыкавшимися над их головами ветками.

Так они проехали еще минут пять. Потом лошадь вдруг начала валиться на бок, и Мирко едва успел соскочить, чтобы поддержать беспомощно падавшего вместе с лошадью Ерихонова.

Кругом был глухой кустарник, Мирко оттащил Ерихонова от лошади, бившейся на земле, и, посмотрев на ее окровавленный круп, зажмурившись, в упор выстрелил ей в голову.

Ерихонов лежал неподвижно. Мирко расстегнул ему пояс и задрал гимнастерку. Вся левая половина груди Ерихонова была залита кровью, и Мирко подумал, что он убит.

Если бы Мирко был немножко старше и немножко терпеливее, он бы, наверное, растормошил Ерихонова, прислушался к его сердцу и понял бы, что Ерихонов жив и что две касательно прошедшие пули только разодрали ему грудь, даже не задев кости.



Но Ерихонов был в глубоком обмороке. Мирко не знал, что при этом у человека почти не заметно дыхания. Он трижды отчаянно крикнул:

«Володя!»

Летчик не отзывался, и, остолбеневший от горя и ужаса, Мирко опустился перед ним на колени.

Побелевшими губами он шептал про себя какие-то неслышные даже ему самому слова и с отчаяньем вспоминал, что говорил ему на прощанье Петрич. Наверное, ночью они все-таки спутали тропу.

Сзади громко донеслись выстрелы. Мирко вскочил, ощупал свой автомат, о котором в последние минуты совсем забыл.

Снова опустившись на колени, он дотянулся до окровавленной гимнастерки Ерихонова и стал отвинчивать орден Ленина. Он не тронул других орденов —





только этот, о котором говорил Ерихонов, что он самый главный.

Отвинтив орден, Мирко скинул с себя домотканый рыжий армячок и остался в одной зеленой партизанской рубашке.

Пошарив по земле, он нашел ветку с острым сучком и, проколов им свою рубашку, привинтил орден на грудь.

Потом он встал. Он знал, что мертвым отдают честь, но, потянув руку к пилотке, почувствовал, что сейчас заплачет, повернулся и, на ходу перевесив автомат с плеча на шею, быстро пошел вверх по руслу ручья.

Он ясно, как никогда еще в своей детской жизни, знал, что ему теперь предстояло.

Через четверть часа он добрался до места, где они встретили немцев. Он вылез шагов на тридцать выше тропы. Сверху были видны неподвижно лежавшие тела четырех убитых. Тут же стояли два живых немца, один курил, прислонившись к дереву, второй, сняв каску, устало вытирал платком лицо и лысую голову.

Мирко сделал еще несколько шагов. Мелкие камешки посыпались из-под ног. Немец, стоявший у дерева, потянулся к автомату. Но Мирко уже нажал на спуск. Под треск длинной очереди, дергаясь вместе с прижатым к животу автоматом, он увидел, как немец взмахнул руками и стал падать.

Мирко в упоенье все еще нажимал на спуск онемевшим пальцем — и когда немец падал, и когда он уже лежал на земле. Второй немец выстрелил из винтовки. Мирко снова вскинул автомат, еще раз нажал на спуск и только тут понял, что он одной очередью выпустил все патроны. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, не выпуская из рук автомата, он побежал вниз, прямо на немца.

Немец выстрелил еще раз. В первую секунду Мирко не понял, что он ранен, ему просто показалось, что он споткнулся. Уронив автомат, он упал вниз с откоса, но, зажмурившись от боли, повернулся и сел. Он был ранен в живот, у него сразу онемели ноги, и он с удивлением почувствовал, что не может встать.

Он продолжал сидеть, прислонившись спиной к камню, молча глядя перед собой. Немец подошел к нему почти вплотную, но Мирко продолжал смотреть мимо него — его уже ничто больше не интересовало. Теряя сознание, он все силился понять, почему он не может подняться.

Так он и умер с этим удивленным выражением лица. Подойдя к мальчику, немец заметил на груди у него что-то блестящее — не то значок, не то орден. Он вскинул винтовку и, прищурив один глаз, тщательно прицелился и выстрелил...

— Вот и вся история,— сказал полковник.— Потом партизаны нашли тело и русский орден отдали нам, русским, хотя, по чести говоря, будь я тогда там, я бы похоронил мальчика, не снимая орден с его груди.

— А что же с Ерихоновым? — спросил я.

— Ничего. Летает. Еще раз обнаружил живучесть русской натуры. Очнулся, пять суток полз, потом подобрали. Потом резали, сшивали и штопали. Это уж вам пусть лучше доктор расскажет.

Полковник помолчал и добавил:

— Уж месяц как снова летает, но все в Словению да в Черногорию. Обещал зайти за орденом, когда прилетит сюда.

Послышалось гудение снижавшегося самолета.

— Я думал, больше никто не прилетит сегодня. Больно паршивая погода,— сказал полковник.

— А вдруг как раз Ерихонов? — спросил я.

— Возможно. Он, говорят, уже за сотню полетов перевалил. Когда никто не летает, он летает. Он говорит, что для людей, которые один раз воскресили его из мертвых, ему не жаль умереть второй раз.



В скалах Норвегии

— „Я приму на кортик первого, а ты принимай второго»,— сказал командир и прижался к стене рядом со мной. Когда скрипнула дверь и в нее вошел высокий рыжий немец, держа перед собой ружье, командир нагнулся, широко расставил ноги и, схватившись рукой за вбитую в стену железную скобу для упора, принял его на свой кортик...

Эрик Христиансен замолчал и глубоко затянулся махоркой из маленькой черной трубочки. Он давно не курил и то и дело набивал замерзшими, непослушными пальцами трубку, чиркал спичку за спичкой и закуривал. Он сидел рядом со мной у круглой железной печки в землянке на Рыбачьем полуострове, ему было тепло, на нем была моя фуфайка и штаны артиллерийского капитана, а его собственное, еще мокрое от соленой воды платье, шипя, сушилось над печкой.

За дверью однообразно, с постоянством машины шумел ледяной полярный ветер. Стоял конец ноября 1941 года.

Христиансен был широкоплечий, худощавый, белобрысый человек с красным, обветренным и обмороженным лицом, узловатыми руками, которые могли грести сорок восемь часов подряд, и длинными ногами, исколесившими вдоль и поперек все побережье от Киркенеса до Нарвика.

Он вместе со школьным учителем Иориком Свенсеном переплыл в пятибалльный шторм на утлой лодке — то под парусом, то на веслах — шестьдесят миль, отделяющих Рыбачий от северного побережья Норвегии.

Он хорошо говорил по-русски, потому что тридцать девять лет назад родился здесь, на Рыбачьем, и немало рыбы переловил вместе с русскими поморами. И все-таки, даже вставляя в свою речь старые поморские словечки, он говорил, как иностранец, потому что был норвежцем и с пятнадцати лет жил в Тронгейме, Варде-фиорде и многих других хороших местах, куда теперь мог вернуться, только рискуя быть повешенным на первом дереве.

Он приплыл сегодня ночью, он оброс бородой и сильно замерз; но ему хотелось скорее рассказать обо всем, что он видел за эти последние месяцы скитаний по скалам норвежского побережья.

— Командир принял немца на кортик,— продолжал он, затянувшись трубкой,— но командир был ранен в ногу около Варде-фиорда, еще в октябре, и он поскользнулся на раненую ногу и упал на одно колено. Тогда я перегнулся через него и принял на кортик второго немца. Потом мы втащили обоих внутрь, захлопнули дверь и заперли ее на щеколду. Дверь была большая, толстая, обитая железом, и ее не скоро можно было открыть.

Мы обошли дом изнутри, и все четверо собрались на кухне. Мы хорошо видели, как вслед за первыми двумя, которые тихо умерли, войдя в этот дом, из большой крытой машины вылезли еще восемнадцать солдат, а двое остались в машине — офицер и шофер...

В эту минуту мы пожалели, что нас только четверо и что с нами нет Кнута Ларсена, потому что он один стоил бы еще четверых, и, если бы у нас вдобавок было побольше оружия, мы, может быть, убили бы всех этих немцев.

Я забыл вам рассказать о Кнуте Ларсене. Он погиб за три дня до того, как мы попали в этот дом на берегу моря. Кнут Ларсен был рыбак из Тронгейма, и командир любил его больше всех нас, потому что он заслуживал этого. Он погиб в субботу. Это было утром в деревне Хельпао, в трех милях от Киркенеса. Там жил лесник Скулле. Мы часто заходили к нему, потому что мы ему верили и еще потому, что нынешняя осень очень холодная и мы не могли все время прятаться в своем шалаше Кнут Ларсен пошел к Скулле в субботу. Туда должны были прийти двое из Киркенеса и рассказать, что говорят в городе и скоро ли туда придет большой пароход с солдатами, о котором нам писали из Тронгейма.

Эти двое пришли вовремя, и они сидели втроем с Кнутом Ларсеном за столом, и рядом с ними сидел Скулле. Они ели сушеную рыбу и

пили пиво: Скулле достал им пива. А потом они попросили Скулле выйти. Они ему верили, но ему не нужно было знать все, что знали они. И Скулле вышел. Они сидели еще полчаса, а потом, когда уже совсем собрались уходить, Кнуту Ларсену показалось, что кто-то ходит под окном. Но окно замерзло, и в него ничего не было видно. Тогда Кнут Ларсен — он всегда любил все видеть сам — приотворил дверь и выглянул на улицу.

Вокруг дома стояли немецкие солдаты. Они стояли спокойно со своими винтовками и смеялись, потому что они знали, что окружили дом и все равно никому из него не уйти.

Но Кнут Ларсен считал, что это не так. Он крикнул двоим, пришедшим из Киркенеса, чтобы они бежали за ним. И сам, стреляя из револьвера, бросился мимо немецких солдат. Те подняли свои винтовки и начали стрелять. Один из них стал на дороге Ларсена, но Ларсен ударил его ножом в грудь и побежал дальше. Они уже добежали втроем до первых скал, им оставалось всего четверть минуты, чтобы скрыться из глаз, но как раз в это время пуля попала Ларсену в спину. Он упал на снег и крикнул тем двоим из Киркенеса: «Бегите!» И те побежали дальше, потому что если б убили и их, то никто ничего не мог бы рассказать нам о пароходе с солдатами, который шел из Тронгейма.

Ларсен был сильный человек — он приподнялся, сел и, опершись руками на снег, повернулся лицом к солдатам, которые бежали к нему. Они уже не стреляли, потому что думали, что возьмут его живым. Но Ларсен не хотел, чтобы его взяли живым. У него была граната. Она была заряжена,— ему надо было только встряхнуть ее. Он ждал, когда солдаты подойдут ближе, и, когда они были совсем близко, он встряхнул гранату и, не выпуская ее из руки, ударил об лед.

Двое из Киркенеса видели, как погиб Ларсен, они слышали, как кричали раненые солдаты. И мы узнали, что Ларсен погиб, но еще мы узнали и все, что было нужно для того, чтобы большой пароход из Тронгейма никогда не пришел в Киркенес...

И теперь в домике на берегу моря с нами не было Ларсена, и мы решили, что нас все равно здесь сожгут, если мы останемся в доме,— и мы вышли навстречу немцам, когда они подошли к домику. Но мы вышли не сразу. Револьверы были только у двоих, у меня и у командира были кортики. И тогда командир сказал, чтобы двое с револьверами вышли первыми и стали за каменную стену и стреляли, пока их не убьют. А когда их убьют, то немцы подумают, что в доме тихо и никого

больше нет, и они войдут в открытую дверь, а мы с командиром будем стоять за дверью и примем еще раз на кортики по одному немцу, а если нам посчастливится, то и по два. И командир снова пожалел, что с нами нет Кнута Ларсена.

Двое с револьверами вышли и стали за каменной стеной. Солдаты увидели их почти сразу. Но их было много, и они не очень боялись. Они шли, стреляя из ружей, а наши стреляли из револьверов, и трое солдат упало, не дойдя до стены. Тут мы перестали смотреть и спрятались за дверью, чтобы нас не было видно.

А за стеной еще стреляли, и мы стояли с кортиками наготове. Но вдруг командир сказал мне:

«Христиансен, я один останусь тут — и не возражай мне, потому что я тебя убью, если ты будешь возражать мне. Я вспомнил, что там, у фиорда, нас ждут Иорик Свенсен, и Матиссен, и еще двое. И если солдаты убьют нас всех, то потом они пойдут и убьют и их там, у фиорда, потому что если предали нас, то, значит, предали и их. Беги, Христиансен, я тебе приказываю. Только дай мне кортик».

И я отдал ему кортик, а он отдал мне свой и сказал:

«Если увидишь когда-нибудь мою дочь, отдай ей этот кортик. А теперь беги».

И я ушел от командира и стал думать, как мне бежать. Я вылез с другой стороны дома и пополз вдоль стены, и выполз из ворот, и опять пополз вдоль стены, а потом побежал по снегу.

Я не видел, что происходило с той стороны, за домом, но там еще стреляли, и в первую минуту, когда я побежал по снегу, меня не заметили. Но потом меня увидели — не солдаты, которые были у дома, а офицер и шофер, оставшиеся в машине. Я повернулся и хорошо видел, как офицер, положив ружье на крыло машины, стреляет в меня. Он выстрелил много раз подряд, но я только потом, когда добрался до моря, заметил, что одна пуля попала мне в бок, пробила кожу и застряла в фуфайке. Всю ночь я шел вдоль берега моря и только утром дошел до поселка на берегу, где меня ждали Иорик Свенсен и остальные.

Я рассказал им все, что случилось, и мы пошли дальше, в одну хижину на берегу моря, в которой никто не жил уже три года и бывали только мы.

Иорик Свенсен ждал командира, чтобы решить, как быть со Скулле. Накануне пришли рыбаки из деревни Хельпао и рассказали, что это

Скулле выдал Кнута Ларсена, что он ходил в Киркенес и принес оттуда мешок муки, которая была только у немецкого коменданта и которую он не мог бы достать ни у одного норвежца, потому что у норвежцев ее уже давно всю взяли.

Но командира не было, и мы решили сами — потому что что же тут решать. Мы разделились, и двое из нас пошли в Хельпао, чтобы убить Скулле.

А мы остались — я, Иорик Свенсен и Матиссен,— потому что нам некуда было идти, пока мы не связались с остальными. У нас была маленькая лодка, на которой не стоило выходить в море в такую погоду, но мы все-таки на всякий случай положили в нее бочонок с пресной водой, и если бы могли, то положили бы и запас еды, но еды у нас не было. Ночью к нам пришел рыбак из поселка и сказал, что они были около того дома, где мы дрались с солдатами, и видели, как немцы хоронили там пять солдат и поставили над их могилами кресты с касками. Немцы долго возились, потому что там кругом один камень, и им пришлось царапать его штыками. А когда они пошли было в деревню, то все мужчины ушли из деревни, потому что никто не хотел помогать им закапывать солдат. Но когда немцы уехали, жители деревни пошли и закопали двоих наших, которые лежали там.

«Двоих?» — спросил я у рыбака.

«Да, двоих»,— сказал он.

И я понял, что третий спасся.

«Какие они из себя?» — спросил я, желая узнать, погиб ли командир.

«Они совсем обросли бородами»,— сказал рыбак.

Но мы все обросли бородами, бродя три недели в лесах, и потому я не мог узнать командира, а рыбак тоже не знал его, потому что командир был издалека.

«Но какие же они все-таки были?» — опять спросил я.

И рыбак вспомнил, что один из них был с густой бородой и лысый.

Так мы узнали, что наш командир умер.

«А еще,— сказал рыбак,— меня прислали сказать, что немцы оцепили всю округу от Хельпао до моря и идут сюда со всех сторон, потому что они ищут вас».

Мы на минуту присели и стали думать. Нам очень хотелось курить, но табаку в Норвегии нет уже полгода.

Тогда мы спросили рыбака, нет ли у него чего поесть для нас. И он порылся в карманах и вынул два куска сушеной трески. Мы взяли у не-

го их и решили, что если нам придется плыть, то на один день у нас все-таки есть еда. У нас не было никакого оружия, кроме двух ножей, топора и моего кортика. И мы знали, что если сюда придут немцы, то нам нечем будет отбиваться от них.

Но море было похоже на смерть, и в него можно было выйти, только выбирая между двумя смертями.

Так мы ждали до утра, а на рассвете на берегу с двух сторон показались солдаты. Они шли, осторожно прячась за камнями. Они не знали, что мы не можем в них выстрелить. Тогда мы спустились к воде и сели в лодку. Пока лодка была у самого берега, солдаты не видели нас, но, когда мы немного отошли, они увидели, легли между камнями и стали стрелять.

На море был такой ветер, что, кажется, он относил от нас пули. Только одна попала Матиссену в плечо, но он промолчал и сказал нам об этом, только когда мы вышли в открытое море. Это море должно было стать для нас могилой, но мы не хотели, чтобы солдаты издевались над нашими телами, а море для рыбака — это тоже хорошая могила.

Мы ставили парус, и спускали его, и гребли, и снова ставили парус. На вторые сутки ударила волна и сбила Матиссена в воду. Он потонул, прежде чем мы успели протянуть ему руку, потому что он совсем ослабел от своей раны.

А на третий день мы пристали сюда вдвоем с Иориком Свенсеном. И вы видите, что делается с моими руками: на них совсем нет кожи, а ведь я умею грести. И это не с непривычки.

Эрик Христиансен со вздохом посмотрел на свои руки, которым долго не придется грести и натягивать паруса, и потом, ткнув лежавшего рядом с ним на койке Иорика Свенсена, сказал ему что-то по-норвежски.

Иорик Свенсен приподнялся и сел рядом с ним. Это был маленький старик с темным, дубленным ветрами лицом и простыми железными очками на носу — такими, какие и у нас носят старые школьные учителя.

— Если бы не Иорик Свенсен, мы бы не доплыли,— сказал Христиансен.— Свенсен не моряк, он школьный учитель, но, когда мне хотелось бросить весла и опустить руки, он говорил мне: «Держись, мой мальчик, мы доплывем». Он говорил со мной, как с ребенком, а ведь он умеет говорить с детьми. Два поколения норвежцев учились у него в школе



и, слава богу, стали хорошими людьми, которые еще постоят за свою свободу.

Мы невольно еще раз внимательно посмотрели на учителя. Старик сидел неподвижно, обхватив колени руками; у него были ясные голубые глаза; не видя этих глаз, его трудно было бы представить себе молодым. Но если смотреть только в его глаза, то нельзя было представить его себе старым.

Заметив наши взгляды, Христиансен тоже посмотрел на старика.

— Когда немецкие солдаты пришли к нам,— сказал он,— Свенсен был в отпуску в Осло, и он нам рассказывал потом, как все это там началось. Немецкий консул был большим охотником и иногда ездил с нашим королем на охоту в прибрежные леса. А в тот день, когда пришли солдаты и королю пришлось бежать к побережью, консул тотчас надел полковничий мундир и, зная все дороги и тропинки, по которым мог ехать король, погнался за ним впереди немецких солдат. Но говорят, что около одного охотничьего домика консула подстерег старый

егерь и застрелил его из ружья, заряженного волчьей дробью. Я не знаю, но, наверно, это правда, потому что нам об этом рассказывал Иорик Свенсен. А он всю жизнь говорил только правду и детям и взрослым.

Старик сидел неподвижно, наклонив голову и прислушиваясь к разговору. Голова его немножко дрожала: казалось, что он все время одобрительно кивает.

— Это у него уже после Нарвика,— сказал Христиансен.— Он был добровольцем в Нарвике, его там ранило в голову. Вы не думайте, что он очень старый. Это не от старости, а от раны. Он хорошо стреляет, и если идти пешком по скалам, то он обгонит меня.

Христиансен помолчал и добавил:

— Когда мы вернемся домой, он у нас будет командиром. Я решил это здесь, а те, кто остался там, наверно, решили это там. Да, я уверен, что они так и решили. Впрочем, они думают, что мы утонули: море было, по правде сказать, очень плохое...

Мы вышли из землянки. Христиансен стоял против ветра, подставляя ему свою широкую грудь в толстой фуфайке. С запада, со стороны Норвегии, поднималось северное сияние; оно перебегало по небу огромным светлым мостом, как бы соединяя этих двух стоящих на нашем берегу одиноких людей с их родиной, скрытой за высокими серыми валами зимнего моря.



Свеча

История, которую я хочу рассказать, произошла 19 октября сорок четвертого года.

К этому времени Белград был уже взят, в руках у немцев оставался только мост через реку Саву и маленький клочок земли перед ним на этом берегу.

На рассвете пять красноармейцев решили незаметно пробраться к мосту. Путь их лежал через маленький полукруглый скверик, в котором стояло несколько горевших танков и бронемашин, наших и немецких, и не было ни одного целого дерева, торчали только расщепленные стволы, словно обломанные чьей-то грубой рукой на высоте человеческого роста.

Посреди сквера красноармейцев застиг получасовой минный налет с того берега. Полчаса они пролежали под огнем, и наконец, когда немножко затихло, двое легкораненых уползли назад, таща на себе двух тяжелораненых. Пятый — мертвый — остался лежать в сквере.

Я ничего не знаю о нем, кроме того, что по ротным спискам его фамилия была Чекулев и что он погиб девятнадцатого числа утром в Белграде, на берегу реки Савы.

Должно быть, немцы были встревожены попыткой красноармейцев незаметно пробраться к мосту, потому что весь день после этого они с маленькими перерывами стреляли из минометов по скверу и по прилегавшей к нему улице.

Командир роты, которому было приказано завтра перед рассветом повторить попытку пробраться к мосту, сказал, что за телом Чекулева можно пока не ходить, что его похоронят потом, когда мост будет взят.

А немцы все стреляли — и днем, и на закате, и в сумерках.

Около самого сквера, поодаль от остальных домов, торчали каменные развалины дома, по которым даже трудно было определить, что из себя представлял этот дом раньше. Его настолько сровняло с землей в первые же дни, что никому бы не пришло в голову, что здесь еще может кто-нибудь жить.

А между тем под развалинами, в подвале, куда вела черная, наполовину заваленная кирпичами дыра, жила старуха Мария Джокич. У нее раньше была комната на втором этаже, оставшаяся после покойного мужа, мостового сторожа. Когда разбило второй этаж, она перебралась в комнату первого этажа. Когда разбило первый этаж, она перешла в подвал.

Девятнадцатого был уже четвертый день, как она сидела в подвале. Утром она прекрасно видела, как в сквер, отделенный от нее только искалеченной железной решеткой, проползли пять русских солдат. Она видела, как по ним стали стрелять немцы, как кругом разорвалось много мин. Она даже наполовину высунулась из своего подвала и только хотела крикнуть русским, чтобы они ползли к подвалу, потому что она была уверена, что там, где она живет, безопаснее, как в эту минуту одна мина разорвалась около развалины, и старуха, оглушенная свалилась вниз, больно ударилась головой о стену и потеряла сознание.

Когда она очнулась и снова выглянула, то увидела, что из всех русских в сквере остался только один. Он лежал на боку, откинув руку, а другую положив под голову, словно хотел поудобнее устроиться спать. Она окликнула его несколько раз, но он ничего не ответил. И она поняла, что он убит.

Немцы иногда стреляли, и в скверике продолжали взрываться мины, поднимая черные столбы земли и срезая осколками последние ветки с деревьев. Убитый русский одиноко лежал, подложив мертвую руку под голову, в голом скверике, где вокруг него валялось только изуродованное железо и мертвое дерево.

Старуха Джокич долго смотрела на убитого и думала. Если бы хоть одно живое существо было рядом, то она, наверное, рассказала бы ему о своих мыслях, но рядом никого не было. Даже кошка, четыре дня жившая с ней в подвале, была убита при последнем взрыве осколками кирпича. Старуха долго думала, потом, порывшись в своем единственном узле, вытащила оттуда что-то, спрятала под черный вдовий платок и неторопливо вылезла из подвала.

Она не умела ни ползать, ни перебегать, она просто пошла своим медленным старушечьим шагом к скверу. Когда на пути ей встретился кусок решетки, оставшейся целой, она не стала перелезать через нее, она была слишком стара для этого. Она медленно пошла вдоль решетки, обогнула ее и вышла в сквер.

Немцы продолжали стрелять по скверу из минометов, но ни одна мина не упала близко от старухи.

Она прошла через сквер и дошла до того места, где лежал убитый русский красноармеец. Она с трудом перевернула его лицом вверх и увидела, что лицо у него молодое и очень бледное. Она пригладила его волосы, с трудом сложила на груди его руки и села рядом с ним на землю.

Немцы продолжали стрелять, но все их мины по-прежнему падали далеко от нее.

Так она сидела рядом с ним, может быть, час, а может быть, два и молчала.

Было холодно и тихо, очень тихо, за исключением тех секунд, в которые рвались мины.

Наконец старуха поднялась и, отойдя от мертвого, сделала несколько шагов по скверу. Вскоре она нашла то, что искала: это была большая воронка от тяжелого снаряда, уже начавшая наполняться водой.

Опустившись в воронке на колени, старуха стала горстями выплескивать со дна накопившуюся там воду. Несколько раз она отдыхала и снова принималась за это. Когда в воронке не осталось больше воды, старуха вернулась к мертвому русскому. Она взяла его под мышки и потащила.

Тащить нужно было всего десять шагов, но она была стара и три раза за это время садилась и отдыхала. Наконец она дотащила его до воронки и стянула вниз. Сделав это, она почувствовала себя совсем усталой и долго сидела и отдыхала.

А немцы все стреляли, и по-прежнему их мины рвались далеко от нее.

Отдохнув, она поднялась и, став на колени, перекрестила мертвого русского и поцеловала его в губы и в лоб.

Потом она стала потихоньку заваливать его землей, которой было очень много по краям воронки. Скоро она засыпала его так, что из-под земли ничего не было видно. Но это показалось ей недостаточным. Она хотела сделать настоящую могилу и, снова отдохнув, начала подгребать

землю. Через несколько часов она горстями насыпала над мертвым маленький холмик.

Уже вечерело. А немцы все стреляли.

Насыпав холмик, она развернула свой черный вдовий платок и достала большую восковую свечу, одну из двух венчальных свечей, сорок пять лет хранившихся у нее со дня свадьбы.

Порывшись в кармане платья, она достала спички, воткнула свечу в изголовье могилы и зажгла ее. Свеча легко загорелась. Ночь была тихая, и пламя поднималось прямо вверх. Она зажгла свечу и продолжала сидеть рядом с могилой, все в той же неподвижной позе, сложив руки под платком на коленях.

Когда мины рвались далеко, пламя свечи только колыхалось, но несколько раз, когда они разрывались ближе, свеча гасла, а один раз даже упала. Старуха Джокич каждый раз молча вынимала спички и опять зажигала свечу.

Близилось утро. Свеча догорела до середины. Старуха, пошарив вокруг себя на земле, нашла кусок перегоревшего кровельного железа и, с трудом согнув его старческими руками, воткнула в землю так, чтобы он прикрывал свечу, если начнется ветер. Сделав это, старуха поднялась и такой же неторопливой походкой, какой она пришла сюда, снова пересекла скверик, обошла оставшийся целым кусок решетки и вернулась в подвал.

Перед рассветом рота, в которой служил погибший красноармеец Чекулев, под сильным минометным огнем прошла через сквер и заняла мост.

Через час или два совсем рассвело. Вслед за пехотинцами на тот берег переходили наши танки. Бой шел там, и никто больше не стрелял из минометов по скверу.

Командир роты, вспомнив о погибшем вчера Чекулеве, приказал найти его и похоронить в одной братской могиле с теми, кто погиб сегодня утром.

Тело Чекулева искали долго и напрасно. Вдруг кто-то из искавших бойцов остановился на краю сквера и, удивленно вскрикнув, начал звать остальных. К нему подошло еще несколько человек.

— Смотрите,— сказал красноармеец.

И все посмотрели туда, куда он показывал.

Около разбитой ограды сквера, над засыпанной землей воронкой от снаряда, высился маленький холмик. В головах его был воткнут по-

лукруг горелого железа. Прикрытая им от ветра, внутри тихо догорала свеча. Огарок уже оплывал, но маленький огонек все еще трепетал, не угасая.

Все подошедшие к могиле почти разом сняли шапки. Они стояли кругом молча и смотрели на догоравшую свечу, пораженные чувством, которое мешает сразу заговорить.

Именно в эту минуту, не замеченная ими раньше, в сквере появилась высокая старуха в черном вдовьем платке. Молча, тихими шагами она прошла мимо красноармейцев, молча опустилась на колени у холмика, достала из-под платка восковую свечу, точно такую же, как та, огарок которой горел на могиле, и, подняв огарок, зажгла от него новую свечу и воткнула ее в землю на прежнем месте. Потом она стала подниматься с колен. Это ей удалось не сразу, и красноармеец, стоявший ближе всех к ней, помог ей подняться.

Даже и сейчас она ничего не сказала. Только, посмотрев на стоявших с обнаженными головами красноармейцев, поклонилась им и, строго одернув концы черного платка, не глядя ни на свечу, ни на них, повернулась и пошла обратно.

Красноармейцы проводили ее взглядами и, тихо переговариваясь, словно боясь нарушить тишину, пошли в другую сторону, к мосту через реку Саву, за которой шел бой,— догонять свою роту.

А на могильном холме, среди черной от пороха земли, изуродованного железа и мертвого дерева, горело последнее вдовье достояние— венчальная свеча, поставленная югославской матерью на могиле русского сына.

И огонь ее не гас и казался вечным, как вечны материнские слезы и сыновнее мужество.

Содержание

Для среднего и старшего возраста

Симонов Константин Михайлович

ТРЕТИЙ АДЪЮТАНТ

Рассказы

Ответственный редактор И. В. Пахомова. Художественный редактор Е. М. Гуркова. Технический редактор И. П. Данилова. Корректор Н. А. Сафронова. Сдано в набор 2-XI 1967 г. Подписано к печати 15-XII 1967 г. Формат 70×90$^1/_{16}$. Печ. л. 4. Усл. печ. л. 4,68. (Уч.-изд. л 3,78.) Тираж 300 000 экз. ТП 1967 № 288. А 04073. Цена 14 коп. на бум. № 1. Издательство „Детская литература". Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика „Детская книга" № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 1586



Цена 14 коп.